

---

## РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ: ПУБЛИЦИСТИКА, КРАЕВЕДЕНИЕ

**Игорь Карлов**  
(г. Улан-Батор, Монголия)



### ТИХИЙ ТОК НАШИХ ЧИСТЫХ РЕК

*Родился в Туле в 1966 году. Учился в школе, служил в армии. После окончания Тульского педагогического института работает преподавателем русского языка и литературы. Много лет занимался в народном театре. Был участником и режиссёром различных массовых зрелищ. Публиковался в тульских СМИ, работал на радио и телевидении. Сейчас живет и работает в Монголии.*

Здравствуй, старина, здравствуй! Никак мы с тобой не встретимся, чтобы поговорить всласть. А может быть, обо всем уже переговорено, и осталось только одно — думать над сказанным. Если угодно, то вот тебе еще дополнение, мои аргументы в спорах, которые вести уже кажется неприличным. Что-то вроде сочинения на тему «Как я провел лето». Что-то, чем можно пренебречь, но что есть.

Итак, поселок Чернь. Этим сказано все, можно поставить точку. Если бы не существовало поселка с таким названием, это можно было бы считать литературным дурновкусием вроде говорящих фамилий и зычных псевдонимов. Но есть он, поселок городского типа Чернь, райцентр земли Русской, в котором живут люди, а уж как и зачем — Бог весть.

Сюда приезжаешь на автобусе и, выходя на привычно заплыванную площадку перед автостанцией, обзираешь окрестности. Через речку — железный мост, за мостом — луга, холмы, строения и горизонт. Рядом с автостанцией — больница. Для тех, кто относительно здоров, она присутствует в виде снятой реальности, обозначаясь забором, за которым необыкновенно густые кусты, крыши и легенды о добрых и злых, пьющих и непьющих врачах. Вдохнув летний пыльно-придорожный чернский воздух, понимаешь всю бессмысленность споров о медицинском страховании, семейных врачах и реформе здравоохранения. Когда стоишь на земле, которая родит, осознаешь, что все это глупые затеи, а если человек заболит, не выздоровеет, пока не отболит у него то, что положено. Перетерпит боль — будет жить дальше, не сдюжит — помрет. И если найдутся люди, которые выступают посредниками между человеком и болью, то это, безусловно, титаны и герои мифологического масштаба. Они не лечат, не ведут прием, не процедуры назначают, они присутствуют при свершении

тайнства борьбы жизни со смертью. Поэтому районная больница — место почитаемое. Не со всякой болячкой в нее надо лезть, а только когда уж неумоги. Это вам не городская поликлиника, где конвейерным способом штампуются больничные листы, примерно обозначая даты условной болезни и условного выздоровления. Городская поликлиника — контора, в которой каждый больной в режиме «помоги себе сам» открывает медработникам симптомы, которые считает нужным сделать достоянием гласности в данный момент времени. Городская поликлиника — магазин самообслуживания, где рецепт представляет собой калькуляцию среднестатистического организма, модного лекарства и толщины кошелька больного. Не так обстоят дела в районной больнице. Как — не знаю, ибо не решался вступить за забор, понимая подосознательно, что не готов к серьезным отношениям с болью, что ни по возрасту, ни по жизненному опыту не достоин занять место среди тех, кто решился примериться к настоящей боли и той неизвестности, что последует за ней. Никогда не видел врачей Чернской больницы и не присягну, что они существуют. Впрочем, не видел и больных. Один только раз из-за куц, обрамленных забором, вышла старушка в белом платке, но что-то шептало мне, что она не больна, а только навещала кого-то из страждущих. Выражение лица ее было веселым и умиротворенным, и навело меня на странную мысль: если арабы представляют себе рай местом с обилием воды и зелени, окружают себя в повседневности всевозможными фонтанами и пальмами, проецируя таким образом частицу горних сфер на быт, то не видит ли обитательница средней полосы России отражениемрая на земле больницу? Там тишина и покой, там не нужно исполнять свой натужный повседневный труд, там хлеб насыщенный строго по распорядку выдается бесплатно, там чистота и прохлада, там мудрецы в белых одеждах говорят с тобой и внимают тебе с участием и интересом. И ведь недаром же она — РАЙбольница...

Однако жарко. Дорожная пыль щекочет ноздри и осела на глотке. Вперед, друг мой, в придорожное кафе. Да, именно так и означено на павильоне из стекла и древесностружечных плит: «Кафе». Космополиты и малoverы пройдут мимо, завсегда-таи парижских и венских кафе в ужасе отшатнутся, но подлинные наследники Владимира Красно Солнышко да пребудут здесь. Войдем и мы, присоединимся к избранному обществу водителей-дальнобойщиков и праздных поселковых жителей, окунемся в душную атмосферу пригоревшего масла, табачного дыма и некоей неизвестной мне субстанции, которая обязательно витает в придорожных точках общепита, окружая их тайной. Войдем и изопьем по кружке местночтимого напитка, называемого пивом. Вкус его необыкновенно глубок, но какой это вкус — понять невозможно. Помимо воды в наших кружках плещется недовольство буфетчицы своим мужем, тягучий бестолковый разговор, тоскливая экономность провинциального пивовара и жажда наживы нечистоплотного торговца. Пить это пиво советую большими глотками, делая паузы, чтобы ощутить, как просыпаются защитные функции организма, как начинает цепляться за жизнь подсознание. Но кружку надо выпить непременно до дна, тогда глаза чуть подернутся влагой, а фибры души раскроются для познания неизвестной и дивной страны — России, о которой мы так мало знаем. Видимо, подобное испытывали чужестранцы в древней Спарте, когда вкушали чечевичную похлебку на бычьей крови и навсегда зарекались воевать со спартанцами. Выпили, крикнули, стукнули донышком кружки о столешницу. И вот теперь, когда организм приведен в правильное состояние, продолжаем осмотр окрестностей.

Главной достопримечательностью фасадной части Черни является, конечно, памятник. Подойдем ближе и осмотрим его. Только осторожнее, не попадите под машину! Чтобы дойти от кафе до памятника, надо пересечь проезжую часть «симферопольской трассы», знаменитой Е-95 (эх, знали бы куры, копошащиеся в обочинной пыли, что возятся на трассе федерального значения). Итак, памятник. Невниматель-

ный отпускник, торопящийся в Крым на своем авто, отметит про себя: «Памятник». И все. Но, господа, эта скульптурная группа из двух стоящих мужских фигур поразительна. Это единственный в мире памятник, воздействующий на бессознательное! Во всяком случае, я больше нигде не видел двоящегося памятника. Уверен, что многие, пусть и внимательные, отпускники, даже пившие пиво в кафе, даже отправлявшие телеграммы и звонившие «по межгороду» из почтового отделения, находящегося за памятником, даже жившие в гостинице левее памятника, не знают, кому этот памятник. Нет, он не Марксу и Энгельсу! Согласен, мужчина с цилиндром в руках — вылитый Энгельс. Но всмотритесь в другого: марксова ли это шевелюра? А эта борода принадлежит ли автору «Капитала»? А одежда? А толстовка? То-то и есть, что перед нами автор «Войны и мира»! Кому же памятник? Толстому и — Энгельсу. Вот тут-то и сядут на попу любые сюрреалисты, абстракционисты и прочие Неизвестные. И только старомодные и никому не интересные закоснелые приверженцы реализма будут продолжать мучительно искать рациональное зерно в замысле скульптора и, собрав в кулак волю и интеллект, откроют пред собой Толстого и Тургенева. Вот это, товарищи, настоящий катарсис. Вот это приобщение к художественному поиску. Вот тут кончается искусство, и дышат почва и судьба. Как, откуда взялось это творение? Будь на моем месте беллетрист, он рассказал бы поучительную историю... Несколько историй. Например:

История о скульпторе, ваявшем только основоположников марксизма и неожиданно получившем заказ на памятник писателям.

История о мэре Черни, убежденном коммунисте, начавшем возведение памятника Марксу и Энгельсу, но переродившемся и изменившем проект.

История о заколдованном камне, над которым сколько ни работай, а кроме Энгельса никого не высечешь.

История о городах-побратимах — Черни и Карлмарксштадте, — обменявшихся изваяниями.

История о том, что Тургенев и Энгельс, Толстой и Маркс были, оказывается, дальними родственниками.

И это только первое, что приходит на ум! А каких голливудских сюжетов еще можно было бы накрутить! Но я этого не сделаю, оставаясь в рамках бытописания на заданную тему.

Эх, друг мой! Я мог бы многое рассказать о Черни... Это сейчас, когда мы обросли животами и семьями, жизнь вокруг кажется отлаженной, а лет десять назад достаточно было сильного ветра, чтобы поселок оказался без света. И тогда тьма египетская нисходила на улицы, а идущий навстречу человек выделялся из черноты лишь контуром, более темным, чем чернота. Сгустки мрака блуждали по поселку, невольно сбиваясь к окнам, в которых были видны маятники свечей. Вот тут-то и понимаешь свое ничтожество перед силами природы. Настоящее — ветер, дождь, темнота, а игрушки цивилизации — электричество и права человека — пустое. Вот тут-то и чувствуешь себя ребенком перед антропонесоразмерным дворцом природы. Да, в лесу у ночного костра испытываешь нечто похожее. Но представь только себе, что вокруг тебя еще тысячи существ, называемых разумными, копошатся в темноте. Понимаешь ли ты? Тысячи! Ужас и восторг обуревают тебя, и осенняя дождливая ночь в обесточенном поселке равняет тебя с питекантропом, и ты понимаешь, что он, возможно, высшая ступень, гордый и сильный духом пращур, осознавший свое величие, изживший страх, имевший силы жить, существовать, теплить искру рода человеческого, несмотря на холод, голод и тьму.

Да, так было 10 лет назад, в то легендарное теперь время, когда сахар можно было купить лишь по талонам, когда сигареты выдавали по месту работы, когда передовикам уборки урожая предоставлялось право приобретения дефицитного товара со

склада, а не через магазин. Это было время, когда Леха — тракторист, пересекая трассу Москва — Симферополь и находясь в нетрезвом виде (а кто поедет на Лехином тракторе в трезвом виде?!) ведром, прикрепленным к борту прицепа, поцарапал «Мерседес», а бандиты стали взыскивать с Лехи за ущерб. И это не анекдот. Бандиты к Лехе два раза приезжали. Жилище его осмотрели — взять нечего. Хотели было дочку забрать, да куда ее, дуру некрасивую? Это было время, когда мы потеряли свою страну, свое прошлое и будущее, когда мы смутно чувствовали что-то неприятное, и только сейчас стало понятно: в те дни, месяцы, годы нас продавали и продавали. Каждый час, каждую минуту, а то и секунду, по русской душе шло за копейку. Каждый час по русской буйной головушке ложилось кирпичиком в фундаменте чье-то-то особнячка. Каждую минуту по жизни ложилось на чей-то счет, а кредиты выдавались кому-то под жизни детей и внуков наших. И дошло, наконец, до того, что осталась лишь заваль людская, никому не нужная, ничего не стоящая. Огляделись мы по сторонам. Эка! Да ведь заваль-то — это мы! И начали потихоньку соображать, что раз все продано, кроме нас, то, значит, цены нам нет.

Почему мы выжили тогда, в тоскливые ночи без электричества? Потому, что смиренно поняли, что нам делать: одним в поте лица добывать хлеб насущный, другим в муках рожать детей. Каждый день шли мы работать. Ни смысла, ни результата работа наша не имела. Но с тупым упрямством пластались мужики и бабы, кишками, жилами, всем нутром своим тащили себя через время, надсаживаясь, плача и матерясь. Безвольно и покорно, как клыча в борозде, влачили время через себя. И менялось время. И мы менялись. Глупее нельзя придумать: люди заводили моторы, собирали картошку, учили детей, лечили стариков, и все без надежды на плату, без гордости за профессию, без благодарности начальства. Человек, провалившийся под лед, выберется и побежит. Не видя конечной цели, не осознавая, что с ним происходит, звериной памятью припомнит, что бег — единственное его спасение. А мы вспомнили, что спасало предков — труд; злой, непосильный труд. Наказание и призвание человека на Земле. Постепенно, брошенные, ненужные, лишние людишки, осознавали мы труд как наше оружие в борьбе с жизнью, как единственное оправдание перед предками и потомками, перед Богом. Медленно отступала тьма, холод и голод, и сегодня я знаю, что ответить там, на Страшном Суде: «Помилуй нас, Господи. Мы грязны и грешны. Мы не сделали добра, не были достойны Тебя. Все, что мы знали и могли, — работать».

Десять лет назад... Тогда подыхала великая империя, такая по-домашнему понятная и обжитая нами. Империя, подобной которой не бывало в мире, похожая на коммунальную кухню, на общежитие, империя без императора, без наследника, империя высокой обрыдшей всем идеи. Всеми поносимая, отовсюду изгоняемая страна умирала от смешной, в общем-то, причины: она стала неудобна, старомодна, неэффективна. У империи не было внешних врагов, ибо она была страшна своими размерами, и все, кто некогда хотел оспорить ее право на существование с оружием в руках, махнули на нее рукой и забыли о ней. У империи не было врагов внутренних, ибо даже инородцы и студенты обжили собственные уголки Великого Беспорядка и уютно угнездились в них. Справедливости ради следует сказать, что не было у империи и друзей, и солдат, и идеологов. Казалось, что некогда установившийся порядок вещей уже не изменится. Однако запойная наша держава ворочала мозгами и стучала сердцем, то есть влачила существование с надеждой когда-нибудь жить. И с тем умирала. Умирала, повторюсь, от неэффективности.

Отметь себе! История русского народа знает множество примеров государственной борьбы с неэффективностью. И всегда это заканчивалось гибелью государства и победой неэффективности. Посему делаю вывод: неэффективность есть русский вариант эффективности, и всякий, кто не понимает этого, будет вредить государству.

И стояли над страной ночи. Осенние, глухие, такие непроходимо тупые и черные, что либо застрелиться, либо Леонида Андреева почитать. Обычные русские ночи, прессами давившие нас и в смутное время, и при крепостном праве, и в гражданскую войну... Что там — глаз коли; хоть зубы вырывай плоскогубцами, хоть режь по живому тупым ножом, не будет в ответ ни людского сочувствия, ни Божьей милости. Даже Луна куда-то девалась. Или от ее света еще темнее делалось в глазах? Наверное. В глазах темнело — это точно; от жизни впроголодь, от одиночества и заброшенности, от подспудного сознания, что теперь, когда все створы разбиты, не будет больше покоя, справедливости, достоинства, что страшными ночами человеческая заваль будет убивать и насиловать безнаказанно, что пойдут по нашей земле гулять ненасытный подкуп и предательство, б...ство и гнусь, что не будет честному человеку не только почета, но и приюта на родине. И так будет долго, может быть — всегда.

Кто говорит — раньше лучше было. Не знаю. По-другому было, а лучше ли?.. Кто рад: скоро лучше будет! Будет ли? Скоро ли?

Заунывная нота русских жутких ночей тянется, тянется, тянется. Многие годы, века, должно быть, досталось нам слышать ее. Так визжали тормоза «черных воронок»? Так скрипели оси телег продотрядов? Или — раньше — скрежетали уключины расписных челнов Стеньки Разина? Лязгали мечи междоусобных войн?

И под эту сурдинку встрепенулась вдруг «творческая интеллигенция» и давай глаза нам открывать да «всю правду» сообщать. По ночному небу (еще черней) ползли пятна: архивы открылись, гласность наступила. Да так наступила (прямо в середку поганой лужи), что всем глаза брызгами залепила. Слепу да сдуру полезли дружить с «цивилизованными странами»: вот они мы! Хоть трахайте нас! А те: «Гуд, гуд. Хорош рус Иван! Давно мы тебя не лапали. Что это у тебя торчит? Крым? Прибалтика? Давай-ка их сюда». И сменяли полстраны на хорошее отношение к нашим лидерам. Сейчас только морду протерли, башку почесали да по привычке рукой махнули: мол, не жалко, у нас еще много осталось.

Вот ведь какая правда-то... Смотришь да удивляешься: как не заметили раньше, что «вся правда» была не вся? Если говорила «творческая интеллигенция»: «Сталин был злой усатый тиран», то подразумевала: «Чего мы не пожелаем, все нам можно, а осуждать нас не смей!» А если кто талдычил: «Переход к рынку! Переход к рынку! Переход к рынку!», то значило это: «Мне мало платят. Дайте денег! И еще, и еще!»

Оно конечно: и Сталин был тиран, да еще злой и усатый, и базар поинтереснее карточной системы. И душа русская взыскует правды с тоской почти смертной. Но та «вся правда» десятилетней давности в другом. В том, уставшие мои современники, что разбрелись мы по одиночке в поисках корма и «удовольствий» и так и бродим в потемках, натываясь на неразрешимые в одиночку вопросы.

Ночи, ночи осенние... Гораздо позже электричество стали отключать за неуплату, а тогда мы впервые узнали, что света, тепла, воды в домах может не быть. Просто не быть. Понимаешь? И ощутилось, что «цивилизация» — понятие отвлеченное и к понятию «человек» применимо далеко не всегда. Бывает так, что этот самый «человек» остается во мраке один на один с природой как биологический вид, голенький, без ста своих цивильных одежек. Что делает тогда «человек»? Любуется звездами? Читает при лучине? Или идет грабить по подворотням? Раз нет электричества, то летят на помойку культура, воспитание — все, чем согревались души на морозе существования. И пока не забрезжит за окном рассвет, чего только не передумаешь! Долгая крошечная ночь палачом приступает к кровати, а ты бежишь от нее, да как раз и потеряешься. Себя потеряешь в обрывках душного черного плаща, скроенного из ошметков твоих и еще чьих-то мыслей, барахтаешься и тонешь в темноте, не зная, за какую соломинку ухватиться. Что дальше будет с нами? Что дальше будет со мной? И даже если включат свет, дадут деньги, и их хватит на еду и одежду, и даже

если много купить еды и одежды, домов и машин, яхт и женщин, то зачем это? Тоскливая пустота жизни готовит тебе три ярма: бессмысленный труд, традиционно ненужная семья, дикий отдых от извечных оков труда и семьи.

Покрываешься гадким смертным потом, и в подушечной тишине ночи кричишь в облепившую тебя вату: «Дай же мне хоть какой-нибудь смысл, хоть какую-то надежду!» И как только начинаешь сам себя спрашивать, кого так горячо просишь о милости подания разума и воли, тотчас находится ответ: Его.

Почему в обыденной нашей жизни мы вспоминаем о Боге в последнюю очередь? От гордыни? От глупости? Скорее, от бессилия. И то сказать: где набрать нам сил для веры, когда нет их даже на безверие. Не холодны, не горячи, теплим свое существование, и мыкается без приюта душа: в «научное мировоззрение» она не влезет, да и в суеверии ей тесно, а до веры не подымается: крылья слабы. Отучилась летать за годы пространственно-временного бытия. Если уж случится какой слом, беда предстоящая свалится, тогда только, порвав в кровавые лоскуты нутро, на грани погибели ринется человеческая сущность к Богу. И от безысходности пробираясь к Свету, если опять не изнеможет и не скукожится, увидит вдалеке за надрывом — покой, за смутой — ясность, за привычкой — любовь, за словом — Слово. Эх, и высока же эта лестница, братья! Как бы нам к ней подступиться?

Но тогда, в прошлой жизни, мало кто задумывался о столь отвлеченных вещах. Стояла задача выжить. Люди выживали, неся в душе надежду на рождение новой древней страны. Тогда творился эпос нового времени, неосознанно и непредсказуемо. И в Черни явления этого эпоса были смешны до трагизма. Через болото повседневной действительности продираться следовало, как через осеннюю грязь на чернских улицах: подумать, прикинуть, куда поставить ногу, чтобы не заляпать штанину. А лучше всего иметь шест для промера глубины луж и залежей пастообразного чернозема. Но путь этот не наш. Мы — в тельняшках и резиновых сапогах.

Я видел это сам, пробираясь сквозь хляби земные, воскресным пасхальным утром в Черни на улице... Не помню названия. На главной улице. В Нью-Йорке это был бы Бродвей. Небо было серо, земля черна. Петухи давно пропели, но тщетна была их надежда разбудить кого-нибудь. Безлюдна и тиха была улица. Я одиноко брел вниз с горочки, любопытствуя узнать, как встречает Светлое Воскресение мой добрый народ. Но поселок словно вымер. И только вдалеке цепляло глаз нечто, лежащее посередине дороги. Сперва мнилось, что это клок сена или ворох тряпья, но нехорошее предчувствие сжимало сердце и неприятно волновало. Куль? Мешок? Но по размерам это было больше, и странная белизна выдавала присутствие чего-то живого. Подходя ближе, я отчетливо увидел человеческое лицо. Мертвец? Но ведь он же... да-да! Храпит. На проезжей дороге, возвышаясь страшным брюхом, лежал навзничь мужик в майке, семейных трусах и кирзовых сапогах на босу ногу. Он был огромен. Русский Гаргантюа, уставший праздновать уже с утра. Явление жуткое и, безусловно, эпическое. Это был, может быть, последний год существования Советского Союза, и всем стало ясно, что Пасху надо отмечать куда как прилежнее, чем 7 Ноября. А как именно, мы не знали тогда.

А видели вы мордобою времен перехода к рынку? На чернском рынке все и началось... Соседняя Орловская губерния издавна у нас считается зажиточной: хлеб там дешевле, значит и жизнь не в пример нашей. Соседям не то чтобы завидовали, а больше сетовали на себя да на свое начальство. Видно, похожие настроения витали и по ту сторону областной границы, ибо по выходным дням с Орловщины обетованной являлись в Чернь за покупками жители приграничного Мценска, также уездной столицы. Понятно, что чернские жители неприязненно относились к зажавшимся дешевым хлебом мценским. Сам посудите: пользуясь своим баснословным богатством, те опустошали чернский рынок. Какой-нибудь очкарик-экономист, может быть, и не

поймет, что плохого, дескать, товар — деньги — товар. Но не экономической скучищей живет Россия, а жаждой справедливости. И я считаю, что будет справедливо так: раз у тебя хлеб дешевле, то можно спокойно вытерпеть, если тебя треснут разок по морде. Но в этот раз на базаре обидели человека нетерпеливого и мстительного. Вернувшись во Мценск, собрал он ватагу таких же спортсменов, как сам. Вдохновенные все той же пылкой страстью к справедливости, мценские арендовали автобус и в тот же вечер отправились в Чернь. Мстить. В сгущающихся сумерках остановили они автобус на левом берегу Черни-реки, чтобы войти в поселок пешком. Вооружены были арматурой, цепями и прочим скобяным товаром. И хитроумный их вождь, Одиссей современности, приказал обнажить торсы, дабы в темноте отличать своих от врагов. Говорят, были среди мстителей и девицы. Не знаю, оголялись ли последние, вряд ли. Вообще роль этих Валькирий исхода XX века не ясна. Должны ли они были врачевать раненых или вдохновлять на бой своих мужчин? Или то были фурии и гарпии, подручные Марса?

А теперь представь себе, как в наступившей темноте голые по пояс люди входят через мост в городок с единственной целью: бить любого, кто попадется им на пути. Страшно?.. Их долго не могли остановить. Потом уж прибыл ОМОН из Тулы и Орла, и побоище прекратили. Но знай, что усобицы периода феодальной раздробленности Руси и все наши гражданские войны еще не окончены!

В ту ночь приоткрылась дверь, за которой вся тьма, вся чернота жутких ночей, все бесы, стоящие за нашими спинами. В узкую щелку видна была безысходность и проклятие земли нашей.

Смерть и мучения, растерзанная в клочья русская душа, кровавые ошметки ее в грязи, сила и воля злые и непреклонные. Страстная, неистовая жестокость пульсирует, как кровь в висках во время драки. Там братоубийство и предательство, там сажают на кол и вырывают языки, заживо сжигают и забивают до смерти, там тюремные стены и колючая проволока лагерей, и свет в глаза, и пуля в затылок. Хочется спрятаться, исчезнуть, а нельзя, ведь жизнь продолжается даже в крошечном кошмаре. Откуда, из каких веков занесло ко мне в сердце этот смертельный страх? Кто рассказал мне, как мечутся от окна к окну матери и жены? Что за тупое, покорное ожидание муки оживает вдруг во мне? Или это называется терпением? Ведь сотни и тысячи палачей и мучителей прошли по этой земле, возвращая тлен и дикость, а жизнь продолжалась. Значит, терпение — подвиг бездействия — наш русский ответ тьме и бесам? Не знаю, боюсь знать. В одном уверен: не дай Бог заглядывать за эту дверь. Страшен мир за ней, это мир, где можно заблудиться навеки. Даже и вдохновиться можно этой тьмой, возвести ее на пьедестал и существовать, поклоняясь ей. Но горе тому, кто скрипит этой дверкой. Не для слабых человеческих рук ее пружина. Подальше надо от нее, а то затянет и ослепнешь.

А капельки зла сочатся через щели, живут рядом с нами, совсем от нас не отличимые. Напьются парни самогонки и походя прибьют кого... Или вот был в Черни такой персонаж, служивший в милиции. Был он, кажется, таджиком, а прозвание имел «Квадрат», поскольку был мал ростом и толст. Он тех парней, что самогон пьют да куролесят, успокаивал очень лихо при помощи резиновой дубинки. Да притом бил с какой-то оттяжкой злой, с неким вывертом. По спине шарахнет, и человек после его удара просто ужом извивается, а следов от удара никаких. Один только раз «Квадрат» следы оставил, когда зарезал свою сожительницу. Три десятка ранений нанес кухонным ножом.

И сейчас я думаю, а существовал ли в действительности этот «Квадрат»? С ним ли я разговаривал и здоровался за руку? Нет! Нет, конечно. Это персонаж мифический, это сгусток зла, данный нам в ощущениях для постижения загадки бытия. И много, много можно найти в чернском житье десятилетней давности сверхчувствен-

ных сигналов с разных концов Ойкумены. Приехали толстовцы. Спустились с холмов Грузии, где их начали притеснять потомки Демона и Тамары, не пожелавшие далее делить свои горы с русскими.

Задумайся: люди, искавшие свободы от государства и церкви, не согласные делить с обществом его проблемы, изначально уходили в места пустынные, труднодоступные. Раскольники и старообрядцы, толстовцы и сектанты бежали туда, где за удаленностью от административного центра затруднено исполнение предписаний оного. Север и юг империи, восток настолько дальний, что оборачивается западом — вот места обитания отшельников. Но в конце XX века вакуум норм и законов уже не был связан с географическим удалением от столицы. Приезд в Чернь толстовцев, представителей загадочного племени окраинных русских, живущих от Аляски до Амазонии по заветам отцов, сохраняющих на чужбине чистоту России, нужную лишь в России, я считаю актом официального признания очевидного в быту факта: настоящая пустыня, настоящее запустение и одиночество, где нет ни власти, ни закона, переместились тогда с окраин империи в сердце России. Где еще найдете вы заброшенные гектары пашни и туземную дикость? Где еще за бусы, зеркальце и огненную воду вам разрешат делать все, что заблагорассудится? В Черни, господа!

А еще гулял по поселку некий проповедник в долгополом черном плаще, ковбойских сапогах и шляпе. Он, кажется, был абсолютно доволен своей судьбой, занесшей его на дикий восток, где так легко представить себя героем вестерна. По-моему, он даже и не проповедовал никому, а только благодарил своего божка за возможность посмотреть любимое кино в удивительном кинотеатре, где под скошенным каблуком чавкает настоящая грязь, где пыльник покрыт настоящей пылью, где пьяная драка с настоящей кровью. Не хватает стрельбы, попкорна и колы, но с этим легко примириться, когда не надо покупать билет на сеанс. Когда еще приплачивают за просмотр.

Были и другие интересные типы, но была примета времени неодоушленная. Пожалуй, самая яркая. Гуманитарная помощь. Когда Горбачев замирился с вероятными противниками, решено было русских подкормить. По всей Европе взревели двигатели мощных грузовиков, и, подпрыгивая на обломках железного занавеса, устремились в Россию караваны гуманитарной помощи, обреченной на разграбление и мучительный дележ. Стоя в очередях с неотоваренными карточками на сахар и крупу, мы вождедели узнать, что присылают нам соседи по континенту, добившиеся изобилия колбас, сыров и прочей снеди. Бедные, мы не понимали разницы между посылкой от друга и гуманитарной помощью. Непросвещенные, мы, доведись отправить что в Европу, оформляли бы примерно такую накладную: икра красная (1 банка), икра черная (1 банка), водка (2 бутылки), тушенка, сгущенка и т.д. Что же получали неминуемые и сырые наши сограждане? Стоит ли вспоминать! Каюсь, и я однажды включил в свой рацион дары Земли Германской, хоть не был убогим и нуждающимся (да и кто из наших сограждан не вкушал консервов из дареного коня). Не воровал, граждане! Угостили. Итак, баночка не то супа, не то соуса с плавающими кругляшками сосиски. Далее якобы мясное изделие из другой баночки — не режется, на хлеб не намазывается... Что это, если не издевательство?! Закуска дрянная, но и без водки этого не съесть. И глотал я это со слезами, понимая, что объединяющаяся Германия не нуждается в такой пище и потому утилизирует все посредством русских желудков. И нехорошее, мстительное чувство поднималось в душе моей по отношению к отправителям гуманитарной помощи. С рецидивами этого чувства борюсь и до сих пор. Прошу понять меня правильно! Я, конечно, благодарен людям, которые, видимо, от всей души решили помочь голодающей стране. Но за неказистой этой помощью отчетливо было видно место, отведенное отныне этой стране. Да и злился я, конечно, на себя. За то, что сыграл в халявную эту игру, за то, что ощутил себя профессиональным попрошайкой, который материт подающего ему копейками, а не рублями.

Принимали помощь, а получили подачку, ждали гуманизма, а натолкнулись на консервированную добродетель...

И еще много чем метило нас время. А мы оставляли приметы свои в нем. Глупые обиды, неудачи, скудоумие, дурновкусие, заскорузлость чувств, неуклюжесть нашего существования отливались в приметы времени, топорщились бородавками на физиономии века. Хорошо, если от некоторых удалось избавиться. Хорошо, если знаки нового времени не будут такими же нелепыми. По крайней мере, давайте сделаем вид, что не будут!

...Прошло десять лет. Чернь теперь, конечно, изменилась, обзавелась уютными магазинчиками и закусочными и, похоже, стала выдергивать себя из нищеты. И вот теперь, после того, как я рассказал тебе о том, что было, жду вопроса: «Ты любишь это место на карте или ненавидишь?»

Ответить на это — все равно что сказать, люблю ли я себя или нет. Иногда кажется, что чернская жизнь невыносима; иногда — что только так и надо жить. А по большей части болтаешься посередине, между «да» и «нет», болит от этого сердце, и нервы дрожат гитарными струнами. Но в подсознании неистребимо живет несколько воспоминаний, про которые с уверенностью и всегда могу сказать: а вот это правильно и хорошо. Воспоминания эти банальны: синее небо, красное рассветное солнышко, белый утренний туман. Ты говоришь, что это — кич? Не буду спорить. Но за тем, чтобы видеть это, я приехал сюда. И, может быть, чтобы видеть это, я и живу.

Итак, в путь, друг мой! Идем со мной в прекрасную, залитую солнцем даль. Какая красота ждет нас! Какие звуки, краски и запахи! Мы пойдем с тобой вслед за течением реки Чернь, доберемся до Медвежки. А дальше — Тургенево, Бежин Луг... Или, если хочешь, Никольское-Вяземское. Какие названия! Какой простор! Какая воля!

В путь! Ошибочно думать, что путешествие (даже маленькое) имеет какую-то цель. У путешествия есть только отправная точка, то, от чего отталкиваются, что оставляют позади, положившись на волю Божию, бредут, любуясь красотой Его мира. Если быть прилежным путешественником, то обретешь в пути самое главное — себя.

Чернь тянется вдоль трассы на несколько километров. Кажется — вот последний дом. Ан, нет: произвольно стоящие домики оказываются в черте административного подчинения поселка. Идешь, и кажется — конца не будет хуторкам да выселкам чернским. Идешь и видишь, как живет народ. Тяжко живет, с натугой. Однако не забывает о детишках: там качели соорудят, там машину песка свалят перед палисадником, дескать, покатайтесь, пеките куличики, стройте домики — это важные для взрослой жизни привычки. Дай вам Бог, ребятки, когда вырастете, и кулич испечь к светлому дню, и дом поставить, в котором вновь — качельки да песочницы. Так жизнь и теплится. А пока в летнюю каникулярную пору гоняет ребятня на велосипедах, городит схороны тайные да шалашики, таскает из окрестных садов яблоки-зелепухи. Погодите, дети, немного, дайте созреть плодам...

По осени в тех обширных садах благодать. С утра зябко и туман. Между лежащими у ног облаками рядами тянутся яблони. Так, наверное, в раю. И потому каждая мелочь приобретает тайный смысл. Дышишь терпким сытным воздухом, от которого через телесную оболочку струится душа, заполняя весь сад и замирая живописными клубами, как туман.

А по восковым бокам яблок медленно стекают капли росы, эти хрустальные путешественники с северного до южного полюса плода. Легко, но словно нехотя, отмеряют они свой меридиан и, задержавшись на крайней оконечности, удивленно падают в небытие.

Яблочки, как в сказке, наливные: тугие, вызывающе красивые. Если надкусить такое — пьянящий сок польется в рот. И тут просто челюсти сводит, и грызешь, грызешь еще; объедение... Когда язык одеревенеет и распухнет от спелой кислин-

ки, тогда уж остановишь себя: да хоть центнер слопай тех плодов, не познаешь добра и зла.

А на соседнем ряду (за туманом не видно) — разговор. То озорной, то деловой диалог. Может, это сторожа с бригадиршей балагурят; может, змий с Евой калякают. И вот пошла через ряды наискосок женщина. Голова под цветным платочком, что в голове — тайна. Брезентовая куртка на ней, штаны тренировочные, резиновые сапоги, а под этим всем — то же, что скрывалось под туниками да хитонами с тех пор, как устыдились люди наготы своей. Взглядом зацепит тебя на секунду, томно смотрит и требовательно, лукаво и неподкупно, отвернется резко и дальше уплывает в туман. А ты стоишь, не шевелишься, что-то ребро ломит, сил нет. Яблоками, что ли, объелся?..

Вдруг выбежит из тумана собака. Крупная, рыжей гладкой шерсти. Собака эта не сторожевая, а приبلудная: стоит и смотрит тебе в глаза, определяя, что ты есть за существо, какие у тебя права на эту территорию, ждать ли от тебя какой-нибудь гадости. И в обыденном этом факте (собака выбежала) много странного: почему собака? почему выбежала? почему на меня? Да и собака сама странная. Кто-то говорил недавно про бешенство, вот и у этой слюна до земли, хвост поджат. Как бы не тянула... Два настороженных ожидания в четырех глазах, два непонимания в туманных клубах, два одиночества в прекрасном яблоневом саду. И долго мы смотрим в глаза друг другу. У собаки, кажется мне, наворачивается слеза. Не знаю, какую информацию считала она по моим глазам, я от нее узнал примерно следующее: «И сюда добрались... Зла на вас не хватает. Позахватывали все кругом — лапу задрать негде. Вот что ты стоишь? Что задумал? Не пойму я тебя. Да все у вас не по-людски, все с выпендренчиком. Стоит, смотрит... Мог бы дорогу уступить, звериное-то племя пораньше вас на Земле обретается,— да, пораньше! Планета эта, между прочим, нашенская. Это я тут хозяйка, я должна стоять, растопырив ноги, руки в брюки, а не ты. Эх, да что с тобой говорить!..» И энергично тряхнув головою, собака удаляется каким-то боковым скоком, растворяясь в тумане.

Вот что происходит в наших садах по осени... Ну а сейчас — лето. Задумчивая романтика еще не вызрела. Всему свое время. Время и нам продолжать путь.

Ах, господа! Кто сможет объяснить то невыразимое наслаждение, какое дает нам странствие по родной земле? Вот мы бредем, именно шествуем, шагаем по любимой неизвестной стране, открывая для себя прелесть простой красоты, и умиротворение и нега снисходят на нас, как будто все уже в жизни сделано, все достигнуто. Да и нужно ли что-то делать? Чего еще более возвышенного можно достичь, чем синяя полоска леса там, за желтым полем возле зеленого луга? И отчего так щемит сердце, когда видишь простор? Не видишь, а ощущаешь простор, дышишь волей, слышишь свободу в шуме ветра. И каждое корявое деревце, каждый куст что-нибудь да значат. Если пытаться вдуматься: что это, и почему оно именно так коряво и именно здесь растет, то сойдешь с ума. И ум отказывается пытаться охватить эту вселенную, где за каждым поворотом дороги, за каждым подъемом или спуском открывается новый мир, и остается только чувствовать, как ладно вставлен ты в окружающую сущность, не хуже любой лошади, березы, травинки, у которых ты в гостях, но которые почитают тебя как хозяина.

Пусть же еще послужит нам наша стоптанная обувь! Мы будем двигаться в этом зелено-синем океане вслед за прихотью речных изгибов, постигая музыку ландшафта, поющего хоралами холмов. Мы станем несуетны и мягки, словно течение наших чистых рек, словно ход наших торных дорог.

Дороги эти, о которых столько сказано и спето, которых каждая верста вымощена матюками, действительно, явление особое. Они метафизичны. Они есть, но одновременно их и нет, что зависит от погоды, от настроения путешественника, от добросовестности строивших, от... Дальше додумывайте сами. Уникальное русское явление —

дорога в объезд дороги. Возникают это параллельные пути там, где проложенная межколхозная магистраль неудобоезжима, и мужики съезжают на поле и бузуют по полянам. Эти натужные колеи в одну сторону ведут к былинному прошлому (сравни — «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»), а в другую увозят в далекое будущее, воплощая мечту о временах, когда для передвижения дороги вообще не будут нужны.

Вот в чем смысл и значение дорог России. Пройди по одной из них. Выбери время. Зимой, когда поземка, злая змея, переползает с обочины на обочину. Весной или осенью, когда жидкий чернозем взасос лобзает твои ноги. Летом, когда пласты праха лежат так плотно, что босыми ногами ступаешь, словно по ковру, погружаясь в теплую пыль чуть не по щиколотки; или, как я сейчас, шлепай обувкой по черному раскаленному зеркалу плавящегося асфальта, рождающего в струящемся мареве дорожные миражи.

Гонят каторжный этап, идут колонной солдаты... И все они живут лишь в те минуты, когда проходят мимо. Дорога, как царапина в памяти, а по краям ее возводят церкви на помин душ, ставят памятники героям, кладут плиты разбившимся шоферам. Ты же цепенеешь — не то на поминках, не то в почетном карауле.

Зачем я и куда? Почему век за веком обновляли путь на Руси толпы калик перехожих, захожих богомольцев, паломников и бродяг?

Сядешь в тень под кустом на обочине отдохнуть и подумать, навалится грустная радость: медленно растворяешься во времени и пространстве, и вот уже нет ни пункта А, ни пункта Б, некуда спешить, не за чем гнаться. Эх, заблудиться бы на этих неисповедимых путях! По ним, видно, ходят ушедшие от нас. А то, глядишь, встретишься и с самим собой маленьким. Вон — топает карапуз, и все-то ему любопытно, глаза раскрыты миру и душа нараспашку. Навстречу пацану — телега, груженная рухлядью, на телеге старик. Вожжами щелкает, губами цокает, понукает гнедого трудиться. Зыркнул старик на мальчика, смотрит внимательно, а будто не видит... Или это тоже я?

Долго так сидишь у дороги, всматриваясь в самого себя, глядя окрест. А вокруг все движется: ползет муравей, колышется листва, едут автомобили, проходят столетия. Вдруг чувствуешь и кружение Земли. И на несколько градусов перемещаешься с планетой осознанно, внемля гудению ее соков. Звонкое небо и глухой подземный гул, а справа налево — дорога. Выходит крест. Да такой громадный, что робеешь. Боишься — не над могилой ли водружен тот крест? Ведь этакий могильный холм размером в 1/6 суши он для...

Неужто и вправду погребена Россия? А мы — русские-сироты, и только сиротство делает нас русскими? Неужели суждено нам вечно лишь искать канувшего града Китежа, и никогда не дано будет почувствовать живое и трепетное дыхание Руси? Увидим ли мы добрым наш народ, обильной нашу землю? Снами, не явью, плывут горным ОХОХО! путем лики старцев-печальников над покинутой страной, далеким эхом гремят победы воинов-заступников, обманчивой сказкой видятся жены-хранительницы. А мы, подкидыши, с тоской взыскуем Святой Руси и, не найдя, безнадежно опускаем руки. Где честные, беззаветные труженики, где мудрецы — бессеребренники, где светлые юноши и чистые девушки? Кто научит заветам предков? Кто воспримет потомков? Народ ли мы еще? Тверда ли земля под ногами, или, в наказание Господне, лишенная соли своей, она обратилась в песок, что разлетится от дуновения ветра?

Слабы и безвольны мы, ибо силу обращаем в насилие, а волю — в самоволие. Существование наше — борьба не за жизнь, а с жизнью. Боремся с погодой, с природой, друг с другом, с прошлым и будущим. В семье хотим оставаться одиночками, на работе — безработными, в государстве — анархистами, в Православии — язычниками. И так не живем, а ломаем жизнь, пока не доломаемся, наконец, до смерти. А пе-

ред последним вздохом диким глазом охватим тот скудный скарб, что удалось нахапать: «Это все? Для этого приходил я в мир?»

Господи! Вразуми и настави! Покажи мне мою землю, научи любить ее, укажи мой путь на ней. Пойду, помолясь, по этой дороге, где некогда была раскатана моя жизнь колесами тяжелых грузовиков и автобусов. Пойду дальше, туда, где нет тоски и злых сомнений.

Уже за полдень. Солнце печет немилосердно. Уже позади станция Чернь, которая от райцентра верстах в десяти. Здесь, за железнодорожным переездом, начинается «бетонка». Ровная, прямая дорога, проложенная военными для своих тайных нужд, выручающая окрестных крестьян в нуждах повседневных, во всякую непогоду надежный путь. В округе бытует мнение, что «бетонка» эта секретная, что иностранцам, потенциальным шпионам, здесь не пройти. Во всяком случае, раньше так было. Сейчас, после капитуляции в холодной, бескровной, бестолковой войне, бдительность нулевая. Для шпионов — раздолье. Хоть пасись табунами на совхозных полях. Только не видно иностранцев, пренебрегают. А зря! Думается мне, что где-то в этих местах одна из русских тайн спрятана. Правда, мы и сами не нашли ее до сих пор. А может — и не искали. Так или иначе, ни одной вражеской морды не видать. Все открытые лица соотечественников, настолько свои, что в любой точке галактики посмотришь на них и по-компьютерному безошибочно определишь: планета Земля, Тульская губерния, Чернский район, от зубного техника едут, вставили протезы. Это две бабули на автобусной остановке: часто клацают челюстями, а новая сталь на солнце сверкает нестерпимо. Дед рядом с ними — не знаю, откуда и куда. Может, городской водочкой выпить ездил; может, дела какие вершил, и уже потом выпил. А молодка лет пятидесяти, та, что с сумками и рюкзаком, эта, верно, с электрички. Вышла на станции, и теперь ей к родственникам в деревню. Наверное, дети-внуки там (дело летнее) окормляются на парном молоке да на чистом воздухе. И поперет теперь она, голубушка, им продуктов (хлеба с баранками да колбасы с шоколадками) по детской своей сельской привычке: на одном плече рюкзак, на другом вперевес две сумки, ручками связанные, в руках баул с надписью «Теннис»... Не теннис тут, а марафон с препятствиями, гонка на выживание... Из Тулы ли она, из Орла, из самой Москвы ли, из города, в который влилась в юности капельной и живой кровинкой, где мечтала щеголять в модных платьях да туфельках, где не месить навоз резиновыми сапогами, не таскать круглый год ватника. Получилось у нее что путное? Или так и промыкалась с клеймом «лимитчица», с запойным мужем, с жадными детьми? Об этом погадает она позже, на закате, уже на месте, когда наговорится с земляками, оделит близких городскими гостинцами, а сейчас думка другая: как до дому добратся? будет автобус или нет? А это вопрос не заковыристей ли вопроса о смысле жизни, я даже не берусь рассуждать, ибо скатишься на банальную формальную логику, а подход нужен с точки зрения космизма и даже антропоцентризма русского сознания. Суди сам: вот дорога, вот автобусная остановка. Вроде бы — почему бы и не быть рейсу? Тем более старушки толкуют про расписание, излагают четко, по дням недели, по часам. Но тут слушай, да держи фигу в кармане. Какое расписание в глубинке России? Шутить изволите? Здесь детей в паспорт забывают записать, не то что... Плюс разница в восприятии маршрута пассажирами и водителем, когда одним кажется, что пора бы уже, а другой считает, что рано еще (Эйнштейн с теорией относительности по горькой иронии судьбы не был русским; хотя — не верно; относительность — она в Лондоне относительность, в России относительность — среда обитания. Научной сенсации не получилось бы: что за сенсация — «все относительно», когда все действительно относительно; и жил бы Эйнштейн тихо в Бердичеве, пока кто-нибудь другой в Гарварде не догадался: «Смотрите-ка, Эйнштейн-то в Бердичеве живет относительно! А не придумать ли новую теорию?»). Далее: когда и что слома-

ется в автобусе? Кто и сколько даст денег на бензин? Был ли у шофера повод выпить? Остановит ли его милиция на посту в Медвежке?.. Продолжать можно до бесконечности. Сам понимаешь, что в таких условиях сесть в рейсовый и доехать до нужного пункта было бы слишком просто. Настолько просто, что это считается чудом. А я не привык рассчитывать на чудеса. Нет, дорогие мои попутчики, оставляю вас в томительном ожидании и продолжаю свое хождение. Благо напротив жестяного скелета остановки, рядом с нефтебазой, — колонка. Напьюсь, оболуюсь по пояс льющей артезианской водой и потопаю. Кстати, если пойдешь когда-нибудь моим маршрутом, запомни эту колонку. Очень она выручает путника.

Слава Богу, рюкзачок мой невелик, сейчас погоняю его по спине, чтобы нашел свое место, и — в путь. На мокрые волосы натягиваю кепочку козырьком назад (солнце-то мне в спину), надеваю темные очки, чтоб не ломило глаза белым светом бетонного зеркала, шнурую покрепче обувь... Все. Пошли!

Шаг за шагом верчу я планету. Она туго начинает раскручиваться мне навстречу. Земная ось поскрипывает, но поддается.

Каждый путник оставляет след на своей дороге. Но и дорога отпечатывается в прошедшем ею. Собственно говоря, каждый из нас — это те дороги, которыми мы прошли. В городе люди все больше каботажные: дом — работа, работа — дом. Иногда маршрут искривляется: дом — работа — пивнушка — рюмочная. Или так: дом — работа — любовница — дом. И все это видно на лице человеческого, как на крупномасштабной карте. Некоторые и в городе ходят много и подолгу; бутылки, например, собирают, ищут ночлега по подвалам и теплотрассам. Но что интересного в таких крысиных петляниях? Грязь и тоска. Здесь, на воле, с каждым шагом идешь бодрее, дышишь глубже. Выдыхаешь городскую отраву — бензиновый воздух, зависть и злобу. Чище становится на душе и в голове, когда взгляду простор до горизонта, когда уху не мешают сорные шумы. Революции, футбольные матчи и рок-концерты возможны исключительно в городах не только потому, что скопление людей там больше, но и потому, что скапливаются люди с зачумленными легкими, сердцами и мозгами. Тоскующие о чистоте и свободе, городские жители митингуют, бунтуют и дерутся, выдумывают законы и нарушают их. А по-настоящему счастливое общество построят там, где семьи расселятся в отдельных домах километрах в пяти друг от друга. Думаю, что эту мысль поддержали бы князь Кропоткин и Шарль Фурье. Вдохновленный этой идеей, я тут же организовал летучий митинг (а куда денешься: я тоже горожанин). Присутствовали: я, щебень с обочины, подорожник, насекомые — на правах сочувствующих. Открыл митинг я. В кратком вступительном слове ярко, образно, горячо рассказал я собравшимся о бедственном положении в городах, где люди сходят с ума от нечеловеческих условий жизни. Участники митинга были потрясены приведенными мною фактами давки, темпа и стрессоопасности жизни в городе. Затем слово взяла божья коровка. Добрая тварь обещала освободить всех поголовно от работы и засыпать черным и белым хлебом, только бы не мучались люди, не страдали. Хромоногий муравей выступал от окрестных муравейников. Привожу стенограмму его речи: «Люди! Опомнитесь! Все деньги, деньги и деньги. Нельзя так! Человек прост и прекрасен в своей простоте. Толстые, гиподинамичные горожане — тупиковая ветвь развития цивилизации. Высокие истины, о которых веками мечтало человечество, попраны. Нет веры, надежды и любви в похотливом хаосе урбанистской жизни. Нет свободы, равенства и братства там, где вещи стали мерилom человека. Что оставили вы себе, люди? Остались ли вы еще людьми? Ваш любимый всеобщий эквивалент — деньги — заменяет детей и жен ваших. Спаривание вы принимаете за любовь, привычку за дружбу, слабость за смелость, жадность за мудрость, эгоизм за свободу. Вы думаете, что дома ваши похожи на муравейники. Какое горькое заблуждение! На каждой вашей лестничной клетке по несколько пы-

точных камер, где издеваются вы друг над другом. Пожалейте себя, люди! Бегите из городов!»

«Тут ведь как...— заскрипел гравий.— Щас, побежали они. Вас много ездит, много. Туда, сюда. А я тоже, хоть и упертый, но и меня в пыль стереть можно... Можно, да. Вот и каждый на своем месте... Они побыли тут, и — обратно. Да... Тут думать надо, как жить дальше, раз так все сложилось. Вот главное-то: думать. Как жить. Раз так все сложилось».

Выступление растения. Подорожник: «Я, фактически, столетник. Бессмертник даже. Везде и всегда я расту при дороге. Я знаю людей. Маленькие дети, поплевав на меня, прикладывают мои листья к разбитым локтям и коленкам. Женщины лепят меня на носы, чтобы не обгореть на солнце. И я позволю себе высказать крамольную мысль: все пошло наперекосяк с отменой крепостного права. Самый прекрасный человек, который проходил когда-либо здесь, — Иван Сергеевич Тургенев. Красив, интеллигентен, добр. Европейцев учил европейцами быть! Мозг — самый тяжелый в мире. Вот кто знал, как надо жить. Любовь — раз, природа — два, творчество — три. Все. Больше людям ничего не надо. Тут вам и свобода, и счастье. Захотел в Париж к любимой женщине — пожалуйста. Захотел роман написать — пиши. А в основе всего — труд крепостных крестьян. Сейчас Тургенев чем бы занимался? Кредитами, арендой, загранпаспортами, прочей мурой. Когда же ему было бы душой воспарить? Сил и времени на романы где взять? Потому общественная энергия расходуется на поддержание самой себя. Никто не ценит красоты и добротности в людях, а в вещах — наоборот, ценят. А это неправильно. Вы спрашиваете, где выход. Я думаю, западная цивилизация идет по правильному пути: возникает избыток продукта, создаваемого обществом, что экономит энергетику. Остается направить эту энергию на любовь, охрану природы и творчество, что уже и делается. Естественно, в условиях демократии, равных стартовых возможностей. Следующий шаг — выделение специальных людей, занятых любовью, природой и творчеством, содержание которых (я имею в виду людей) общество берет на себя за счет излишка совокупного продукта. То есть, мы возвращаемся к крепостной системе на новом техническом уровне. И обратите внимание, как я примиряю западников со славянофилами!»

Тут в компанию добавился еще один горячий спорщик. Прямо с неба упал. Это я выбросил окурочек. Он тут же взял слово: «Товарищи! Что толку тут болтать?! Надо идти в массы. Вот этот, который открывал митинг, чего он бродит без цели, без задач. Пусть его хождение будет маршем протеста...» Затаптал я окурочек и двинулся дальше. Какие они все-таки наивные, смешные и милые, эти говорливые существа.

Вперед! Вперед! Даже по изнывающей от зноя «бетонке» весело шагать не по казенной надобности, не протестуя и не поддерживая, а в силу того, что находишь это приятным. С вершины очередного холма уже виден мост через реку Снежедь.

Снежедь. Удивительное название. Снежное и дождливое, нежное и неожиданное. Сне-жедь. Как будто лихо, в два глотка, выпил кружку холодного деревенского молока, сохраняемого в сенном сарае с вечерней дойки. И напился, и сыт стал, и сил набрался... Я сразу мостом не пошел, спустился к реке. И знаю, что налюбуюсь еще на нее, а не смог сдержаться.

Неширока и не больно глубока Снежедь. Издалека воды не видно: густая, по-особенному зеленая листва прибрежных деревьев почти скрывает речку. Зато по этой примете — кучевым зеленым облакам, лежащим во впадине, — с высокого места можно проследить за причудливым течением Снежеди. Капризный нрав у малютки! Как только ни извернется, каких петель ни заложит. А может, и не в капризах дело, может, тяжело было ей прокладывать свой путь сквозь неподатливую землю? Это вернее. Начинаешь уважать за силу и напористость. Именно такое — сильное и напористое — течение родной моей реки. Другие и мощнее, и полноводнее, и вальжж-

нее (да сколько рек, столько характеров). А эта забавно клокочет, бурлит на поворотах. То успокоится, задумчиво плывет вдоль берегов своих. То закружит водоворотом над омутами: «А я опасная! Меня люби, да не теряй головы!» И на каждом-то повороте она разная. Вот здесь, под мостом, неподалеку от села, она словно домашняя, прирученная. Чуть выше по течению мужики приноровились рыбу ловить, чуть ниже пристраиваются пижоны-автолюбители намыwać свои легковушки. И всем Снежедь угождает: одним берег поудобнее, другим съезд поотложе. А сама несет и несет свои воды, словно опаздывает куда. Мы остаемся на берегу со своими мимолетными заботами, а мимо течет вечность от истока к устью. Значит, и у вечности есть устье? Эх, дорогие мои, радостно и боязно думать об этом, о том, что вечность кончится, доведя наконец свой озабоченный бег до предсказанного Нечто. Так и Снежедь вливается в Красивую Мечу за много-много километров от того места, где я стою сейчас. Нет, постой! Спутал я. Куда там, совсем не в Красивую Мечу впадает Снежедь. Меча, она далеко в стороне остается, как всякая Красивая Мечта — кажется близехонько, а на самом деле до нее топтать и топтать. Снежедь впадает в Зушу. Да, да. В Зушеньку. Хлопоча и бормоча, все ускоряясь, словно даже подпрыгивая, торопится Снежедь в объятия Зуши и, рванувшись напоследок, словно душу распластав пополам, словно сама своей водой захлебываясь, как захлебывается сердце кровью из разорванной аорты, растворяется в другой реке, в новой жизни. Умерла она? Оглянись-ка назад. Глазам своим не веришь: ведь только что на твоих глазах скончалась Снежедь, воскликнув на прощание, а она снова течет издалека, торопится к своему концу, чтобы начать все сначала. И Зуша снова и снова принимает ее в свое лоно, вздрагивая и ускоряясь от слияния, спеша к другому, своему, устью...

Умыться надо. Хороша водичка. Спасибо, Снежедь. Я теперь с тобой рядышком пойду, немного только спрямлю твои изысканные изгибы

За мостом — село Тургенево. Почему-то кажется оно безлюдным: как ни проедешь, ни пройдешь, редко увидишь здесь человека. Зато в Тургеневе ты всегда буд-то не гость, а хозяин. Хозяйство, правда, незавидное, но школа есть, почта, магазин, молокозаводик. Домов-то как будто и нет. Где-то они спрятаны в высоченном бурьяне. Два памятника. В Великую Отечественную в округе жаркие бои шли. Бюст Тургенева. Кстати, школа (одноэтажная беленая постройка) от барских времен осталась, от Тургеневых. Войти бы, побродить в этом домике, над которым века и беды пролетели, да по летнему времени закрыто. Все закрыто, и ни одного человека не видать. Хотя не оставляет гадкое ощущение, что за тобой наблюдают из какого-то окна. Странная деревня. Фантом. Может, и не было бы ничего странного, если бы не одно, о чем пока нарочно ничего не говорил, но что является безусловной доминантой окрестного пейзажа. Зданием это назвать — неверно по сути, но и «храм» не скажешь. Развалины, руины. Бывшая церковь бывших помещиков Тургеневых. Если идти, как я, со станции, то могучие деревья закрывают часть церкви. Потому я прошел до школы, стараясь не повернуть голову вправо, и тут присел на скамеечку у автобусной остановки (оно лучше, сидя-то). И тогда взглянул... Не объяснить, друзья мои, почему именно этого храма поругание вызывает во мне такую тоску. Знаю, слишком хорошо знаю, что великое множество заброшенных церквей в Отечестве нашем, и, видимо, каждый назовет какую-нибудь одну, которую ему жальче других. И сам я видел всякого: и гаражи, и склады, и конторы в домах Божьих; и просто разруха. Но вот здесь, в Тургеневе, мерзость запустения особенно очевидна. Может быть, потому, что в других местах чувствуешь хоть намек на надежду, что что-то поправится. Здесь надежды нет никакой.

А ведь церковь-то интересная. По задумке архитектора, по исполнению строителей какой-то черточкой выделяется она из множества барских проектов. Смотришь на нее, а в глазах словно двоится. И пропадаются дыры в теле храма, и одеваются битый

кирпич штукатуркой, вместо березок на куполах проступают кресты и позолота. Строгая стройность была в этой церкви, добротная основательность и даже (прости, Господи!) щедрая щеголеватость. Да, такое соорудить в глуши... Для этого надо было чуточку бравировать и своей верой, и своим богатством. А может — грех беру на душу, напраслину возвожу на Тургеневых. Может, был в том строительстве разумный расчет. Может, из последних сил, с надрывом возвели они по какому-то обету храм. Или было это так естественно, так просто, что и не обсуждалось, а просто строилось. Сейчас этого уже не понять, да и дело уже не в том.

Я был ребенком, когда впервые увидел эту церковь. Мне сказали: «Здесь Тургенев венчался». Какой Тургенев, с кем венчался... Может быть, были объяснения, а может, местная легенда жила себе сама, без объяснений. Для меня тогда таких вопросов не существовало. Но произнесенное могло бы стать для ребенка лучшим образцом атеистической пропаганды и заодно прививкой от любви к литературе. Как?! Идти в эти руины, в эту страшную хоромину? Что-то там делать? Невозможно! Тургенев, видимо, был либо дурак, либо жутковатый человек, раз шастал по заброшенным развалинам, по свалке всяких гнусностей. А достойных храмов я тогда по малолетству не знал.

И вот теперь я вхожу в порушенную святыню. По разбитым каменным ступеням, по мусору и хламу иду, отмечая: вот паперть, а там был алтарь. Тяжело и страшно, как в детстве. Но не что-то неведомое давит и пугает, теперь я знаю, чего бояться. Равнодушие, злобы, трусливой покорности, нищеты и забитости, духовного отупения, пьянства и нигилизма, агрессивности посредственности, зависти и жадности — всех этих бесов, обуревающих русского человека, которые, совокупляясь скопом, ведут его разрушать свои храмы. Кто-то из старцев сказал: «Без православия русский есть пугало всего мира». Но более того — он и себе пугало. Не любит он себя, стремится извести себя поскорее да помучительнее в назидание другим, чтобы не были такими бесовестно беспамятными и бессмысленно нищими.

Полно, милый. Остановись. Пожалей себя. Все возможные уроки дал ты уже миру. Так надругался над своим естеством, что почти утратил его. Не только разбросал камни, но и растер их в песок: пришло время собирать, а собирать-то нечего.

Очнулся русский человек после века угара, после пьяного кровью и слезами века, после века бреда и морока, и нашел себя в разрушенном храме, где пахнет мочой и голубиным пометом, где стены исписаны известными словами. Что теперь? Отстроить бы храм заново, да денег нет. Даром работать — соседи засмеют, жена заест. Убрать бы мусор, поскосить бурьян вокруг. Мелкая задача; при нашем размахе либо сразу все, либо ничего не надо. Прийти после работы, стереть со стен похабщину — сил нет. И так стоит он, чешет темя, разводит руками, не зная, что делать со свалившимся на голову наследством, с этой церковью, с этой землей, с этим миром и с собой самим. А, постояв, пожалуй, ринется вновь в привычный угар и пьянство, оставив детям тоже привычные (до бессмысленности привычные) «вечные», они же «проклятые», вопросы. Век пройдет, дикие дети одичавшего человека на том же месте поскребут затылок и махнут рукой: нам что, больше других надо? Гори все огнем! Разруха станет средой обитания, привычным порядком вещей. А ведь заброшенный храм — древние кирпичи, допотопная кладка — простоит еще и сто, и двести лет. Памятник архитектуры, памятник проклятому славному прошлому, памятник «новой России».

Что нам делать с нашей жизнью, с нашей страной? Ждать, когда уляжется пыль, поднятая рухнувшей империей, когда можно будет оглядеться и вдохнуть полной грудью. Догонять убежавшее вперед время, изменившее все вокруг до неузнаваемости. Ждать да догонять... Хуже этого нет, но это надо делать. И делать одновременно, что хуже вдвойне. Такое время. Поэтому в России всем, кого ни спроси, так трудно. Богатым, не знающим, как распорядиться своим богатством, бедным, не знающим,

как принять свою бедность. Мужчинам, теряющим достоинство в беготне и ожидании, женщинам, оставшимся без достойных мужчин. Верующим в окружении греха, атеистам в окружении верующих. Либералам, вынужденным попирать права человека, патриотам, вынужденным считаться с либералами. Честным трудягам, которым почти ничего не платят, вора́м, которым почти нечего украсть.

В горниле погони и ожидания распалются люди, кипят и изрыгают на ближних свое кипение. И чем ближе нам человек, тем больнее обожжем его. Даст Бог, выплавится из руды нашего страдания благородный металл. Помолится бы я об этом — не на что перекреститься: ни креста, ни лика в заброшенной церкви.

Безнадежным взглядом окинул еще раз стены, и выше «Здесь были...», выше царапающего глаз голого крошащегося кирпича с трудом различаю уцелевший слой штукатурки, а по ней — роспись. Что изображено — уже не разобрать. Но оттенок краски сохранился: голубой, небесный. Пригляделся и в угловой нише увидел словно бы тень. Архангел ли был тут писан? евангелист ли? Не понять. Только контур различим; вот ниспадающие одежды, вот словно бы нимб. Или только кажется?

Перевел взгляд на такую же нишу, левую, если смотреть от алтаря. Еще и рассмотреть ничего не успел, не успел понять, но уже что-то непоправимое слетело в сердце, заметался, засуетился в тишине на втопанном в землю битом кирпиче. Тогда уже понял, что увидел. Понял, но еще не осознал. В левой нише такая же тень былой фрески, и тоже образ расплывчат и неуловим. Только три точки явны и страшны. Три ямки, три воронки, взорвавшие штукатурку и кровотокащие кирпичной пылью. Три пулевых отверстия. Стреляли метко: две раны точно там, где были писаны глаза, а третья — в лоб.

Не хотелось на это смотреть, голова клонилась, но уже увидено, уже осознано и запомнилось. Они стреляли в святого. Ему-то, конечно, то не в поругание, он, почти отлетевший от своего изображения, словно стал прибит, распят на стене, словно открыл глаза свои и посмотрел на нас. Что в этом взгляде расстрелянного святого — не могу передать вам. Не в силах. Ох, лучше бы мне не видеть этого! Как не испепелил меня этот взгляд?! Вы представьте себе: глазницы... Нет, не могу.

Крупной дрожью било меня. Хочется поскорее выйти из-под сводов на свет и тепло летнего дня. Иду, а ноги заплетаются. Еле-еле справился с ознобом, взял себя в руки. Сор скрипит под ногами, когда выхожу (видимо, через бывшее окно). А за алтарной частью в ограде... Да не в ограде, нет ограды, рядом с поруганным символом веры поруганный символ надежды и любви — разоренное кладбище. Нет, дорогой мой друг! Если решишься ты по моему примеру бродить по Руси, то отправляйся на рыбалку, за грибами, что ты так любишь, и никогда не сворачивай с известных тебе маршрутов. Иначе рискуешь узнать о себе что-нибудь неприятное.

Нелюбовь к родному пепелищу и к отеческим гробам. И не активная нелюбовь, а равнодушие — одна из наших черт. Откуда это берется? Видимо, частично из твердого осознания, что «все там будем». За минувший век русский народ приблизился к разгадке тайны смерти. Вернее — понял, что тайны никакой нет. Есть акт перехода из одного состояния в другое, причем зачастую акт волевой, доступный каждому, во многом рутинный (боюсь сказать, но иногда сознательно приближаемый) и не всегда самый значительный из поступков человека в жизни. Потому надгробья и памятники стали атрибутом необязательным. На наших новых кладбищах — одинаковые плиты, поставленные, вопреки тысячелетней истории погребения, почему-то торчком, словно был уже Страшный Суд, и из вздыбленных могил восстали усопшие на звук трубы.

Ну, может быть, артисту или военачальнику и положены бюсты и скульптуры. Над покойными бандитами модно сооружать что-то солидное. А прочие покойники неприятны, как и при жизни: пирамидка, табличка, крестик.

Вот и в Тургеневе старинные памятники стоят вкривь и вкось, словно их трактором нарочно сдвигали с мест, валили, опрокидывали. Пытались ли их приспособить под хозяйственные нужды? Скажем, в фундамент коровника заложить, сэкономить бетонные блоки. Куражился ли кто по пьянке? Возможно. Но, скорее всего, время и ветры судьбы сдвинули по своей прихоти эти камни, а человек не счел нужным исправить сделанное. Не казалось важным, чтобы дань памяти именно этому купцу, помещику, священнику, доктору или учителю возвышалась именно на том месте, где поставили его родные почившего. Наверное, даже удивлялся современный человек, чего это муж, жена, братья так старались для покойника, тесали гранит, выбивали на нем буквы и цифры.

Вот где буквально распалась связь времен — на кладбище. Между изваянием ангела скорби над могилой и вбитой в холмик фанерной табличкой с надписью масляной краской: «Участок такой-то, место такое-то» дистанция не во времени. Это другое измерение.

Во все времена хватало на Руси безымянных могил и покосившихся крестов на погостах. Дело в том, что до нас человечество со страхом глядело на последнюю черту в конце жизни. А мы смотрим на жизнь уже с той, невозвратной, стороны черты. Смотрим сердито, по-деловому, смотрим через призму статистики. Сколько сгинуло в гражданскую? Сколько миллионов погибло в Отечественную? 20? 40? Щелк костяшками на счетах. Сколько тысяч убито в Афганистане? В Чечне? Тык, тык пальцами по калькулятору. Сколько умирает от СПИДа, от водки, от наркотиков? Нажмем кнопку компьютера...

Миллионы. Тысячи. Здесь, может быть, десяток забытых могил. Всего-то... Нам не страшно. Некогда зывали: «Побойся Бога!» Не побоялись. Не убоимся и смерти. И себя самих не испугаемся. А надо бы!

Светило яркое солнце, лучи его празднично высвечивали, пробиваясь сквозь листву, надписи на «непонятном языке». Пахло влажной землей и зеленью. Посвистывала птица. Под могучими кронами деревьев в густом, с человеческий рост, бурьяне я ощущал себя открывателем затерянного мира. Чужого мира. Ненужного мира. Так, наверное, чувствует себя человек, нашедший в джунглях могильники каких-нибудь майя... Неужели мой внук так же равнодушно пройдет мимо моей могилы?

Страшной тяжестью придавило меня к земле. И у нее, родимой, и у Господа просил я прощения. Просил вразумить, не оставить нас, скудных разумом и жалких сердцем. Как же это вышло, что ничтожное мы принимаем за главное? Почему утратили мы подобие человеческого? Зачем так надругались мы над предками и растлеваем теперь потомков? Будет ли конец этому? Не знаю.

В одном я уверен. Одно понял вдруг и твердо, взглянув из разрушенного храма через зияющий купол в небо (какое же синее оно было, какое высокое и чистое!): не жить нам в ладу со своей совестью, не обрести силы и достоинства, не возродить России, не возобновить величественного течения истории, не получить прощения от Бога, покуда в старинном селе Тургеневе не будет доброго хозяина, покуда не придут к ветхой церкви работники потрудиться, чтобы сгинули тлен и запустение.

Это было мое покаяние. И знал я, что впереди ждет меня причастие.

#### ***Приложение.***

#### **Протокол осмотра места преступления.**

Село Тургенево Чернского района Тульской области. Осмотр произведен в светлое время суток.

При осмотре обнаружено здание прямоугольной формы, вытянутое с востока на запад, в восточной части закругленное. Длина здания — 50 шагов, ширина — 5 шагов. Высоту в купольной части определяю с четырехэтажный дом. На здании явные следы надругательства и убийства. Имеются несколько табличек: три с надписью

«Не входить! Опасно!», на четвертой означено: «Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы».

Рядом со зданием обнаружено несколько надгробий в форме круглых и четырехугольных колонн, один памятник в виде гроба. Все надгробия находятся в хаотичном состоянии, надписи плохо различимы. Явно читаются следующие: «Юлія Яковлевна Федорова ...начала 1 декабр... 190... года», «Надежда Андреевна Маляревск...», «Подъ симъ камнемъ погребено тело ...священника С. Тургенева, умерше... 18...1 года. Житія ... было ...». Остальные надписи затерты явно с целью скрыть следы преступления. Подозреваемые: время и люди. О причастности последних свидетельствует памятник Ю. Я. Федоровой со следами неясных букв, выбивавшихся явно подручными средствами. При проведении соответствующей экспертизы надписей предполагая выявление в захоронении наличия умерших, принадлежащих к известным фамилиям и высшим кругам Российской Империи.

#### **Протокол составил И. Карлов.**

Сразу за околицей Тургенева — крутой подъем, миновав который, я сворачиваю в сторону с «бетонки». Иду теперь по краю обрыва, а Снежедь снизу кажется мне путь изумрудными своими берегами. Двумя колеями огибает дорога поле. Несколько дворов, пологий спуск, опять подъем. Снова дома. Добротные постройки, за огородами — машины с московскими номерами, с тульскими, орловскими. Это не городские гости приехали. Это дачники. А если перебраться через мосток — там уже живут крестьяне, и тоже солидно, по первому впечатлению зажиточно. Спроси у них, где, например, Полтево (километров 15 от их жилища), не знают. Живут своим мирком, что, впрочем, немало. Мне, человеку городскому, трудно оставаться самодостаточным в живой природе. Для полноты ощущения жизни мне нужны газеты. Радио, телевидение, компьютер — без этого трудно ощутить себя современным, включенным в мировые процессы гражданином. А еще необходимы глоток угарного воздуха, чувство локтя попутчика в переполненном трамвае в час пик и голая баба на обложке журнала. Без этого невозможно завестись, включиться, вертеться маленьким, но, кажется, уважаемым подшипником в нержавеющей машине под названием «цивилизация».

Теперь, чем дальше ухожу я от железной дороги, тем менее значительными кажутся мировые процессы. Чем больше разворачиваются мои легкие, наполняемые настоящей на травах свежестью, тем менее значительной кажется цивилизация. Непременно надо найти себя, по-новому выстроить систему координат, ведь земля, оказывается, велика, если смотреть на нее не из окна вагона и не из иллюминатора, а ты, оказывается, мал и ценность собственной жизни должен доказать усилием и смекалкой, без скидок на права человека, без защиты полиции.

И вот когда начинаешь чувствовать себя сыном земли, из которой струятся, подобно родникам, питающим Снежедь, богатство, печаль и песня. Чистый поток несет тебя к неведомому устью, а ты — малая капелька. Сумеешь раствориться в реке — обретешь могущество и красоту. Останешься каплей — испаришься без следа.

Однако... Гм... Однако. Можно ли обойтись без этого вечного «но», без фиги в дырявом русском кармане, без камня за пазухой той самой рубахи, которую привыкли в России рвать на груди? Вот, кажется, обрел согласие с миром и своей душой, прикоснулся к Истине, так нет же, неистребимый зуд в затылочной части головы никак не унять, пока не почешешь. А если уж русский человек чешет в затылке, стало быть, пошел мыслительный процесс, а это надолго. Писателям этот жест хорошо был известен, часто упоминается в классической литературе. Может быть, и сами классики почесывали гениальные лысины и талантливые шевелюры. От крестьян ли, от дворян или разночинцев, но и в мою генетическую память заложено поскабливание ноготком темени. Как только это происходит — стоп, действовать невозможно, буду рассуждать, а всякое рассуждение начинается с «однако» по отношению к тому, о

чем рассуждалось ранее. В данном случае «однако» относится к чаемому и необходимому единению.

И хорошо бы слиться, и хочется этого. Но вот с чем? Как разумное одушевленное существо я не могу воедино слиться с природой до кончины своей. Приходится сливаться с аналогичными существами, предполагая в них разум и душу. Когда же предположения оказываются ошибочными, растворяться бывает противно, а иной раз растворить хотят насильно. Все-таки и каплей побыть хочется, покрасоваться, сверкнуть, ослепить. Эти-то личностные желания мешают всеобщему единению, что неоднократно отмечал Лев Николаевич Толстой, еще один гений места. Никольское-Вяземское рядом, верст десять отсюда, но дорога туда трудна и длинна, как толстовская фраза. Крутые спуски, затяжные подъемы, похожие на обособленные обороты, колдобины и рытвины согласований. Кажется, в Ясной Поляне граф писал размашистее и ровнее. Впрочем, речь о содержании. Форма выражения мысли давно найдена, совершенная в самом несовершенстве своем. Так совершенен вычурный автограф Снежеди на зеленой визитной карточке центра России. Так совершенно бесформенное облако. Так совершенен несимметричный ландшафт. И получается (неужели так? — да, да, так!) форма — в отсутствии формы, в том, что каждый эту форму создает заново, думая, что пользуется созданным ранее. Особенно ясно это здесь, в таинственном Чернском уезде, который вдохновлял и Тургенева, и Толстого. А соседом их по имению был Фет. А недалече — поместье Тютчева. А Лесков? А чуть далее — Бунин. А еще на небольшом расстоянии — владения помещиков Хомяковых, Киреевских. А Жуковский? А Болотов? Время шло, менялись границы губерний, но сейчас воспринимаешь их как соседей. И не только между собою соседей, но и моих личных соседей.

Каково живется в таком соседстве? Трудно. Ибо форму жизни получил ты соседски, запросто, от рождения. А содержание нужно добыть самому. Пугает несоответствие: я маленький, молодой еще, а жизнь скроена на богатыря-мудреца. От страха-то как бы этот наряд, эти доспехи не забросить подальше, как бы не обрядиться в телогрейку, в арестантскую робу, в набедренную повязку. Как заполнить все вокруг себя мыслью, содержанием?

А если в России все мысли оказываются несвоевременными? То есть сам пишущий их воспринимает очень своевременными. Да и читатели через столетие удивляются: «Вот же! Он обо всем написал, все показал. Почему не послушали его?» Наивно, милые. Через столетие каждому ясно, что было надо. Вы попробуйте сейчас определить, кто из современников дело говорит, а кто безответственный болтун, ведь говорят все увлеченно, уверенно и много.

Несвоевременные мысли витают в воздухе, и некоторые из них обрушивают себя на людей. Человек начинает мучиться и болеть мыслью. А поскольку русские мозги чрезвычайно отзывчивы на всякую новизну, то страдают мыслительным процессом подчас огромные массы населения. Иной раз мыслительная эпидемия оборачивается трудовым энтузиазмом, иной раз — гражданской войной, а то — «подмораживанием» и «сосредоточением». Запутавшись в лохмотьях мысли, страна валится при каждом широком шаге. Теперь, когда Европа начинает созревать для социальной справедливости и государственных гарантий личности, эти идеи нам кажутся старьем и мракобесием с печатями тирании и тоталитаризма. Хотя именно этих-то идей мы и не знали никогда. Ранее, в период всемирного хитрованства и набивания кубышек, мы гордились честной бедностью и щедро одаривали отдаленные и очень отдаленные страны, неизвестно за какие заслуги произведенные нами же в «братские». Завтра, когда начнется избивание всяческих меньшинств, нами овладеет всерастворяющая политкорректность.

Не берусь определять, что это — задержка в развитии или зашагивание в буду-

щее. Не сужу — хорошо это или плохо. Я просто иду своей дорогой, знаю, что можно насладиться окружающим пейзажем, наслаждаюсь им.

За этими мыслями по живописным дебрям по задам каких-то симпатичных дворов вышел я на широкую поляну. А теперь, друг мой, внимание! Сейчас мы увидим Бежин Луг. Только не торопись! Слева боковым зрением улавливаешь неопределенную, грандиозную пустоту. Да, это там. Справа — бугром поле. По краю его уложены плиты, едва различимые в проросшей траве. Это дорожка для приезжающих раз в год на фольклорный праздник. Вдоль дорожки даже фонарные столбы поставлены. (Интересно, неужели и вправду в этом чистом поле бывает электрический свет?) Как хорошо, что наше посещение не совпало с массовыми гульбищами и игрищами! Только ты и природа. Только природа и литература. Только ты и литература. А теперь пойдём к обрыву. Это та самая круча, с которой чуть не свалился герой «Записок охотника», подходя в наступающей темноте к Бежину Лугу. Есть даже беседка на том месте, но не советую идти к ней. Что может быть нелепее, чем смотреть на Бежин Луг из беседки! Это, я бы сказал, маниловщина, возведенная в квадрат. Нет, мы с тобой найдем достойное вида место. Пусть не на самом краю обрыва, зато повыше беседки, на холме, где растёт дерево. Сядем здесь, привалимся спиной к стволу, ощущая корявость старой коры.

А ты ждал чего-то большего? Да, те же холмы, перелески. Но посмотри на этот ракурс, но улови эту игру света, услышь мощные аккорды высоты и дали. Странно, что тишина рождает звуки. У этого места есть своя партитура, и ты можешь по своему произволу дирижировать колоссальным оркестром. Сначала струнные вибрируют на горизонте тихой прелюдией. Потом медь и литавры мощно вступают с самого дна оркестровой ямы, с Бежина Луга. Их мелодию эхом повторяют гобои. И, пожалуй, соло рояля в среднем регистре и в среднем темпе тоскует о недостижимости гармонии и радуется встрече с толикой ее земного воплощения. А дальше арфы переливами своих солнечных струн ведут неведомую мелодию.

Удивительно ритмично поднимаются к небу волны земли, покрытые золотыми хлебами и изумрудной зеленью, но не посягают на высь, а, зная пределы, отпущенные им, лишь испытывают свои силы и умиротворенно отступают, чтобы не испортить округлость планеты. В этом пейзаже нет дерзости гор, колко грабастающих небо, хотя линия ландшафта от низины, расстилающейся подо мной, до горизонта крута и напряженна. Нет здесь и унылой приземленности пустыни, но есть величавое распространение пространства на доступное глазу расстояние.

Весь окружающий простор пропитан речной влагой, наполнен ароматами земли и растений. И кажется, что не дышишь, а пьешь воздух, что ощущаешь запах самой жизни.

Снизу, с берега Снежеди, с Бежина Луга поднялась цапля, и я слежу ее полет. Как необычно это — наблюдать за летом птицы не снизу, а сверху! Крупное серое тело оттолкнулось от земли, с усилием, трудно взмахивает крыльями и, набрав высоту, оказывается на уровне твоих глаз. Мы с цаплей парим, делаем круги, любимся миром и радуемся воле. И почему бы мне самому не полететь, ведь это просто, надо просто шагнуть с обрыва и подойти к птице, почти такой же большой, как и я. Так реальны эти чувства, что, грешный человек, ощущаешь себя бестелесным. Мнится, что плывешь ты над землей на собственном зеленом облаке, на котором растёт дерево, что тебе подарен летучий остров. Полет и песня!

Вместе с цаплей взлетела и память. Вспомнилось, как ездили на Бежин Луг с отцом. На велосипедах пылили. Вспомнилось, как добровольный гид из местных жителей показывал каменные плиты, поросшие травой, утверждая, что это фундамент того самого кабака, что описан у Тургенева в «Певцах». А Николай, мол, Иванович, целовальник, дожил до самой революции, а в 17-м году повесился в своем

заведении. Еще одна легенда. Или крестьянин сам придумал... продолжение «Записок охотника»?

Земля наша полнится легендами. Мальчишкой мечтал я отыскать в овраге в среднем течении Снежеди спрятанную некими разбойниками карету. Карета та из чистого золота, отбили ее разбойники у Екатерины Великой во время путешествия царицы по Руси, но не успели сбыть с рук. Такая находка представлялась мне вполне реальной. Во-первых, царская карета, безусловно, изготовлена из золота. Во-вторых, разбойники обязательно победили бы в схватке солдат и, конечно, захватили бы ценное средство передвижения. В-третьих, почему бы императрице не захватить в этот благословенный край, где родились мои предки? Единственная загвоздка заключалась в том, чтобы, восстановив ход рассуждений благородных грабителей, угадать место сокрытия их клада... И не могу сказать, что сейчас я полностью отказался от идеи найти золотую карету. Если однажды во время моих хождений в каком-нибудь лесном овраге или под высоким берегом реки сверкнет благородный металл (наверное, это будет после сильного дождя, и дымящийся паром жирный пласт мокрой земли тяжело отвалится от склона), если блеснет ослепительно краешек дверцы с витым вензелем, я не слишком удивлюсь.

Сама Россия — легенда. Непостижимая и более реальная, чем действительность. Наше государство — легендарное государство. Наш общественно-политический строй — баснословный. А чтобы жить в мире, надо самому творить мир. Поэтому каждый из нас создает сотни своих легенд: о верных друзьях, о единственной любви, о русской водке, о великих предках... Мало ли...

Когда же русского человека, уже обросшего собственными преданиями, пересаживают на чужую почву, ему становится скучно и тоскливо. Привыкнув жить в легенде и общаться со сказочными персонажами, русские трудно адаптируются в прозаической обстановке, где вместо анекдотическо-эпической тещи — предсказуемая ма, а вместо колоритного дворника — безликий уборщик мусора. По той же причине русские эмигранты не объединяются в землячества: больно соприкасаться с разрушенным мифом, привычнее создавать новые легенды, например, о тупых американцах, о жадных немцах, о флегматичных австралийцах.

Однако далеко же занесло меня! Предоставим дальние земли туземцам, а сами отправимся далее, ведь поход наш еще не закончен и много красот ждет впереди. Щедра Россия на красоту и, не скупясь, открывает за далью даль. Только неверно было бы сказать: Россия — красивая страна. Вот, например, Италия — красивая страна. Или Япония — красивая страна. Эти утверждения верны, можно сформулировать, что вызывает ощущение красоты. Альпы, Фудзияма, Неаполитанский залив, цветущая сакура при всей рекламно-туристской клишированности действительно неповторимо красивы. А вот Бежин Луг не назовешь уникальным уголком планеты. Сколько таких мест — лугов, полей, рек — не сосчитать! Сфотографируй его — ничего не получится: пустое место. И, выходит, что вся красота не в этом месте, а во мне. И когда я любуюсь русской природой — это я собой любуюсь, тонким ценителем прекрасного? И это место так мне дорого, потому что я, такой хороший, неподалеку родился?.. Будь это так, извечная русская созерцательность не рождала бы примеров парения духа, то есть волевых актов. Не возникло бы нашей иконописи — гармонии, отраженной в нескольких каплях краски. Не шли бы наши монахи в пустыни, указуя, что если такие вот «пустые» клочки земли наполнены светом, цветом, звуком и значением, то насколько полнится благодатью «пустое» небо. Не бродили бы по лику земли паломники, открывая за каждым поворотом своего пути познания новую красоту в мире, в людях, в себе. Не явились бы нам юродивые (паломники к собственной сути), опустошившие человеческий разум во имя разумной полноты воли Божией. Не было бы в семьях «больших гнезд», где снова и снова рождались

дети. А каждый ребенок воплощает красоту, появляясь на свет из того, что сторонний наблюдатель назовет ничем: из взглядов украдкой, из жаркого шепота, из томного изгиба любимого тела.

Скрытая красота мерцает в неброских русских пейзажах. Она невнятна человеку равнодушному, сытому, черствому. Она не взволнует тупую, ленивую душу. Она ничего не даст разуму, привыкшему к стандартным схемам. Больше того, она не существует отвлеченно, а проявляется лишь в конкретном месте, в конкретное время для конкретного субъекта. Для тебя, старик. И потому она неотделима от тебя. Она познакомилась с тобой в день твоего рождения, росла и мужала с тобой, ты растворишься в ней, когда придет твое время. Эта красота — знак бессмертия. В природе России Бог воплотился как нигде спокойно и отчетливо. Всегда чувствуешь Его присутствие: идешь ли по кромке обрыва, проходишь ли березовой рощей на краю поля (роща эта — соловьиная, приходилось мне бывать здесь летней ночью и слышать ее голос); и в глухом лесном овраге, и в диких зарослях не испытываешь страха, не чувствуешь себя одиноким.

Я решил не выходить уже больше на «бетонку», а идти напрямик, по проселочным дорогам, по тропинкам, по бездорожью. Через эту вот низинку перебираюсь наугад, звериным чутьем. Кажется мне, что не должно быть тут болота, хотя с каждым шагом почва под ногами все более топкая. Куда ступаешь не видно: осока по грудь вымахала. Обувь пропитывается сыростью (эх! не натереть бы ноги), одежда в две минуты промокла. Это от росы. Время перевалило за полдень, а тут обильная холодная роса. Только кепку и плечи печет по-прежнему. С кочки на кочку, перескочил я ненадежное место, стал подниматься по крутому склону оврага. Оглянулся назад — широкой полосой петляет примятая трава. Будто медведь шел, или лось, или кабан. След густо зеленый среди посеребренного росой колкого светло-зеленого ковра. Не верится, глядя с поросшего березками склона, что в нескольких метрах обилие воды. Здесь так сухо, кончики иных травинок пожелтели. Бог весть в каком году опавшие листья ломко похрустывают, а сквозь них прорастает молодая трава, кустики земляники. На ходу положил несколько ягод в рот, пожевал. Славно! С детства этот вкус означает: «лето».

Выбрался из оврага, а там — засеянное овсом поле. Сказочный цвет у овсов в эту пору, изменчивый, как цвет морской воды. По первому впечатлению — неожиданно голубой. А приглядишься — бирюзовый. Нет, изумрудный. Да нет, серебряный. И кое-где проглядывает уже золото будущей спелости. Хоть в ювелирную лавку носи это поле. По краешку его и кое-где взлезая в зелень вьются колеи, намеченные грузовиками. Пойду по торной дорожке.

Всегда, когда в незнакомом лесу или в поле набредешь на стежку, обретаешь радостную уверенность: «Вот теперь-то все будет хорошо. Рано или поздно придешь к людям. К добрым людям. Они помогут прохожему». Друг мой! Верь тропинке. Тропа — она честная. Недаром появилась она. По каким-то делам или ради удовольствия протоптали тут путь до тебя. И ты внесешь свою лепту, незаметно утверждая и расширяя тропинку, тем самым доказывая, что нужна она здесь, и идущим за тобой подавая надежду.

А неподалеку виден уже тын. Вот крыши показались. Безымянная деревенька дворов с десятков. Белый день стоит, а собаки не на цепях, рыскают между домами. Людей же не видно на улице. Постучался в первый дом. Уточнил дорогу. Оказалось, живут здесь дачники из Москвы, пенсионеры. Вышла ко мне хозяйка, но куда мне идти — не знала. Из недр дворовых построек вызвала хозяина. Пока ждал я его, пока разговаривали через забор на городском наречии, осмотрелся. Симпатичный у них домик, приятный садик. Вот только... С цветами беспорядок. Нет, чтобы цветы перед домом в палисаднике высадить, а между фруктовыми деревьями — ягоды или зелень.

Вместо этого москвичи периметр своего владения украсили красными, белыми, синими соцветиями. Обозначили границы и стали внутри все улучшать, благоустраивать, облагораживать. Смотрелось это забавно: здесь-то, на воле, где земли — до горизонта, где цветов — море, люди сохраняли ухватки тесных дачных поселков с их бесконечными заборами. Отгородиться и улучшать, благоустраивать, облагораживать. Неужели всем нам идти этим путем? Вероятно.

Но нелепее всего смотрелась внучка дачников. Как яркий модный маятник каталась она на качельках, зажав в руке бумажный флажок с эмблемами закусовых Макдональда. Я невольно оглянулся, подыскивая в окружающем пейзаже место для рыжего клоуна, и некуда было его поместить. Пустить по улице — собаки разорвут, приставить к небольшому стаду на лугу — немного напасешь в таких штанах да ботинках. Да и еда, олицетворяемая клоуном, конечно, игрушечная. Какой тракторист насытился бы гамбургером, напился бы приторной газировкой? Нет, нам бы котлетку потолще, а булку поменьше.

Надорванная бумажка трепещет на согнутом пластмассовом древке. Видно, девочка дорожит этой цацкой, оберегает воспоминание о празднике причастия к быстрой еде, о похожей на протестантский молебельный дом едальне с хронически усталыми служителями, с масляным чадом вместо кадильного дыма. И то сказать, в бедной нашей стране мало ярких впечатлений для детей. Впрочем, и для взрослых. Большинство наших воспоминаний горчат, а хочется вкусного, сладкого. На моей, например, памяти снимали с магазинов вывески «Мясо. Колбасы»; потом потянулись «колбасные» электрички в Москву. Потом эмиграция за колбасой. Потом вся страна «перестраивалась», чтобы у нас в магазинах по 30 сортов колбасы было. И вот сбылось. Состоялась историческая встреча народа и колбасы. Но, кажется, что-то упущено. Всех все равно не накормили, а некую духовную призванность (смутную, одностороннюю, однако присутствовавшую) променяли на чечевичную похлебку. Кстати, похлебка оказалась гадостью. А звучало заманчиво: «Чечевичная похлебка». Что же дальше, друзья мои? Мы, слушавшие Высоцкого, напеваем бессмысленную невнятицу? Мы, ходившие на «Сталкера», привыкаем к мексиканским телесериалам? Мы, которые на БАМ и в Афганистан добровольно, всерьез считаем шоколадки «Баунти» наслаждением?

Чего ради растоптали свою империю, потеряли столько земель, сколько ни в какой войне не отнимал враг? Чего ради превратились в разделенную нацию, гонимую соседями? Чего ради терпим унижение и нищету? Чего ради превращаемся в дикарей и хамов? Почему не рождаем детей, а спиваемся и одурманиваемся? Почему шестидесятилетний мужчина считается долгожителем? Для чего работаем без зарплаты, ютимся в многоэтажных пещерах без тепла и света? На виду всей планеты корчится в муках Россия. Стонет титан, трещат его кости, мечется он в горячке без всякой видимой причины, без заметного внешнего воздействия. Не может быть, чтобы зря. Есть в таком страдании смысл, мне не понятный. Агония ли это или лихорадка перед выздоровлением? Рождение ли это новой жизни? Ясно одно: прежнего не вернуть, — за будущее есть смысл побороться, для него нужно поработать. Не всем миром (слишком разобщены мы сейчас), каждому по отдельности. Измениться вместе с веком — это мы умеем; стать сильнее, добрее, умнее — это сложно, да другого не дано. И тогда слиться по капле в новый чистый поток, мощной рекой продолжать свой путь.

За этими рассуждениями обнаружил я себя на развилке дорог. Направо или налево указывал мне давешний советчик? Не помню. Вот странно — говорил я с ним, что-то смекал, а сейчас все из головы вон. По большому счету говоря, меня любая дорога устроит: ведь для меня главное не дойти, а идти. Однако не хочется понапрасну крюк давать, устал я: целый день иду.

Тут, как в сказке, возник передо мной старичок. По глазам видно — все знает. Я не о коротком пути, это для сказочного деда мелко. А просто: знает все.

Впрочем, почему дед? Ему могло быть и 50, и 100 лет. Маленькое, сухонькое тело, все соки которого излиты в землю. Глубокие морщины на заросшем хорошей щетиной лице, беззубая улыбка и по-умному веселые глаза. Таким (только бритым) изображали скульпторы Вольтера. Старик растолковал, как добраться до нужной деревни, и остался стоять на месте, провожая меня взглядом. А когда я обернулся, прежде чем скрыться у него из виду за поворотом, то увидел, что он все стоит и смотрит, что он протянул мне неуловимую ниточку своей доброты. Мне, непутевому, который на родной земле плутает да, наверное, и в жизни напутал достаточно. Мне, здоровому да сытому, питающемуся его трудами и ничем не отблагодарившему за труд.

Маленькая фигурка почти слилась с травой, землей, деревьями. Старая солдатская фуражка, засаленный пиджак, галифе, сапоги. Кажется, что-то сдвинулось во времени. То чудилось, что я ухожу на русско-японскую войну, а он меня провожает, то представлялось, что он пришел с германской... С гражданской? С финской? С Великой Отечественной? Не так ли стоял он, когда шли его раскулачивать? Таким же добрым взглядом смотрел, когда обмеряли его усадьбу и на каждое деревце накладывали налог? Может, не доброта в его глазах, а хмель или, того хуже, тупость? Понимал ли он, что происходило с ним и вокруг него, когда хоронили дряхлых «вождей» и советскую власть, когда возникали, как пузыри на луже в дождь, «новорусские» губернаторы, президенты, олигархи? Или по-лошадиному вкалывал весь век, а голову от земли поднимал лишь за тем, чтобы мух отогнать? Страшный это вопрос. Если отвечать на него однозначно, без нюансов и полутонов, то такой ответ сводил бы все концы, как удар кинжала. Но они есть, эти полутона! И жив этот старик в несусветной глухомани. Жив, хотя обирали его, как липку, и продразверсткой, и приватизацией, хотя землю его губили мелиорацией, радиацией, химизацией... Ох, как много натащили домой заразы! Так терзают насильники девуку, а потом бросают, расходятся пьяные, злые, что сопротивлялась она, что показала им все их бессилие, а сама в красе своей осталась и среди грязи чиста, и в унижении горда. Вот так и дед на развилке. Совсем не старческие у него глаза. Не тупые, не животные. И так обидно стало мне за потерянную его жизнь, что хотелось броситься в пыльную придорожную траву, рвануть ее зубами, жахнуть кулаком по земле, завывать, зарычать.

Да отчего же гнетем мы так ближних своих! Осталась ли в нас хоть капля живого? Будет ли нам прощение за то, что учинили с данной Богом гармонией? Хватит ли духу верить, любить, надеяться? Ведь и бывшие до нас стремились к истине, а куда пришли? Среди них были люди великие, а уж мы-то, с обмелевшими душами, долго ли вытерпим? Еще скорее ослепнем от гордыни и самоуничужения, от бесчувственности и сентиментальности, от жадности и бессеребренничества. Скольких уже расстрясло в труху на этих вечных русских качелях! Сколько шей сломал этот маятник, мечущийся между «да» и «нет»!

...А вокруг — поля, поля, поля. Если смотреть издали — намеченные цветом плоскости. Подойдешь ближе — поле обретает объем, шевелится, живет. Зайдешь на несколько шагов в эти хлебные кущи, откроешь целую вселенную. Все-то здесь движется, все выпукло и сочно. Здесь особый аромат, особый перезвон сталкивающихся колосьев и целая симфония других звуков: ветра, насекомых, цветущих растений. Отойдешь на дорогу, поле умолкает и уменьшается. Оглянешься через несколько шагов — вновь цветное пятно. Странный эффект: ощущаешь существование несуществующего. Это только для меня, горожанина, поле есть пустота, а пусто место, как известно, свято не бывает? Или оттого, что в современной России так много пустующих полей?

Значит, впрямь пришла на Русь беда, раз обезлюдели села, заброшены поля. Опять набег кочевников, опять смутное время, опять междоусобица. Ненужная, лишняя земля не прорастет золотом. Напрасный труд невыносим Сизифам среднерусской

возвышенности. Сума с земной тягой пропитана колхозными богатырями. Незачем хранить предания и заветы, некому говорить на родном языке, раз непаханы поля. Раз разбрелись без пастухов немногочисленные стада, бредит страна в лихорадке.

Но я продолжаю идти. Но кто-то готовит свой плуг. А кто-то идет воевать, чтоб дать нам идти и пахать. А кто-то молится за нас. И так тихонько теплится жизнь, подспудно, боясь насмешки и хамства. И если находятся люди, не желающие предавать честь и совесть, не отступающиеся от добра и красоты, то все громче будут звенеть колокола Китежа. (Да, может быть, и сам град хоть околицей покажется нам, маня белизной, являя правду истинную.) Звон этот сказочный слышен у тихих и чистых наших вод. Надо только у реки в безлюдном месте затаить дыхание, прислушаться. Постепенно за птичьим посвистом, за плеском воды, за шумом ветра различишь гулкие удары. Это колокола. Это сердце. Это голос крови. Гудит по твоему телу, стучит в твое сердце. В каждой капельке...

Смотри-ка, кажется, повстречал я попутчиков! По проселку со мной в одну сторону шли трое. Мальчишка, девочка и мужчина немногим меня старше. Когда увидел я их, были они далеко, но шли не торопясь, останавливались, чтобы перебраться мячом, и вскоре я уже спрашивал, далеко ли до деревни Ветрово. Оказалось, они туда же. Пошли рядом. Мы, взрослые, закурили, познакомились (соседи — почитай что родственники). Дети убежали вперед от скучных наших разговоров, а мы, разузнав, кто есть кто, сочлись знакомыми и родней, шли довольные друг другом и занятой беседой. Поговорили о видах на урожай, и о зеркальном карпе, что водится в блеснувшем в отдалении пруду, и о политике, и об армии... Кажется, еще чуть-чуть и смысла жизни коснулись бы! Я поглядывал на своего попутчика и почему-то, не мог отделиться от воспоминаний о том далеком времени, когда я был сопливым огольцом, а он вместе с моим двоюродным братом и ватагой сверстников гонял по ночам на мотоциклах по окрестным танцплощадкам. Конечно, я им завидовал! Не танцам, понятно, не соображал тогда, что к чему. Зрелищем было, как они ехали. Клубы пыли поднимали разноцветные мотоциклы, модные космы трепались по ветру, цветастые рубахи, завязанные узлом на пузе, пузырились, что твой парус. Они были олицетворением свободы, воплощением непокорности. Их завораживающие стальным блеском и ярким лаком машины были украшены портретами красавиц, они носили флотские ремни, а метровые клеши были оторочены согнутыми пятаками. Умопомрачительный шик! А в нагрудных карманах вечно расстегнутых батников лежали сигареты. А еще (я раз видел!) где-то запрятан нож-выкидуха. Об остальном я не знал, но можно было догадываться.

Сейчас передо мной взрослый, семейный человек, и только в уголках глаз проявляется на изменившемся лице былой ухарь, «гроза садов и огородов». Сколько воды утекло в Снежеди. Разнесло течением времени племя бесшабашных наездников: кто-то прибил к городскому берегу, кто-то спился, кто-то сел, а иных уж нет.

Поколение за поколением бьется русское море о скалы действительности и разлетается брызгами. Должно быть, по сей день бродят где-то семь странников, ищут счастливого человека, ищут, ищут... А счастье осталось в детстве, в ранней юности. Что оно было? Свобода и независимость? Воля? Счастлив ли сейчас мой случайный попутчик? Не спросил я его об этом, ибо сам себе все еще отвечаю на подобный вопрос. По крайней мере, он казался спокойным. И если на свете счастья нет, то уж покой и волю классик гарантировал.

Но вот и Ветрово. Деревня тянется по берегу реки, теснятся здесь ракиты, некоторые уж очень старые и большие деревья. Молодая поросль стоит стеной непроходимой. Здесь всегда много тени, воздух влажен. Наверное, потому с детства мне казалось, что деревня эта мрачноватая. Или потому, что здесь погост? Мои тут могилки. В скобках замечу, что так и говорят русские, приходя на кладбище: «Вот моя мо-

гилка». Имеются в виду, разумеется, могилы родных. Но верно то, что некая часть меня действительно погребена тут, под холмиками, поросшими травой, а кое-где уже почти сравнявшимися с землей. И еще: когда выкопают именно мою могилу, я уже не смогу ничего сказать. Так вот сейчас говорю — «моя могила». Как бы примеряюсь, где мне лечь. Здесь, в Ветрово, неплохо бы. И не только потому, что здесь погребен мой род. Тихонько слиться с землей, обратиться вновь во прах — это надлежит сделать каждому человеку. Это — таинство, которое стыдно опознать монументальными надгробиями. Вот на старых русских кладбищах таинственно; наглядно видно, как земля принимает покойников: чем старше могила, тем неуловимее холмик, под которым растворяется в земле тело, и слова: «Чаю воскрешения мертвых» в таком месте произносятся естественнее. На старых кладбищах, где уже почти не хоронят, при храме, за оградой, как и положено, ясно представляешь, как предстанем все мы на Божий суд, на Страшный суд, ибо грешны, на Милостивый суд, ибо он Высший!

Да, надежда на спасение, на жизнь вечную, на всеобщую гармонию за порогом посясторонних эгоизмов освещает старинные погосты. По милости Божией, этот свет некогда прольется на всю Землю. И на нумерованные микрорайоны кладбищ времени планового атеизма, и на лужайки упокоившихся протестантов, и на католические пристанища, проходящие на декоративные садовые участки, и на неведомые мне китайские, иудейские, магометанские усыпальницы... Какое благо, что не нам выносить последний приговор! Как будем мы прекрасны за гранью расовой, общественной, имущественной идентификации! Может быть, я встречу приход грядущего века среди покосившихся крестов и зарастающих бурьяном могил... Почему-то я думаю, что это будет так. Наверное, это место больше походит на нашу планету, освобожденную от человеческого рода и возвращенную растениям, птицам и животным.

А впрочем, велика тайна сия, и не мне, недостойному, судить о ней.

Мне бы дойти через поле до конечной точки моего путешествия.

Деревня та называется Русино. Сколько звучных названий сохраняет русская глубинка! Если бы я выдумывал это повествование, ни за что не смог бы украсить его такими интересными словами.

Поле между Ветрово и Русино сейчас поделено между подворьями. А раньше было колхозное. А еще раньше — такие же полосы, как и сейчас. «Только не сжата полоска одна, Грустные мысли наводит она...» Наверное, ветровские и русинские мужики соперничали на этом поле. Может быть, ходили стенка на стенку. Во всяком случае, пацаном я ощущал некое напряжение в отношениях, хотя давно уже многие соседи стали кумовьями и сродственниками. Дед мой говаривал: «Ветровские помещицы были, а мы — крестьяне государственные!»

Государственные крестьяне... В моем воображении это наполняло особым смыслом жизнь в Русино. Надо же: крестьяне, а ведь люди-то государственные. Отсюда, с поля между двумя деревнями, казалось, что крестьяне самые важные в государстве люди. Не «руководители партии и правительства», не царь в старое время, а они олицетворяют собой государство. Позже я догадался, что это только казалось. Сейчас понимаю, что так должно было бы быть!

Но в жизни почему-то все не так, как должно быть, и не так, как кажется. Подходя к дедовской усадьбе, я ясно слышал, как Русино говорит мне: «Я умираю».

Дом наш на краю деревни. Некогда накатанная дорога заросла теперь травой. Участок, который когда-то так придирчиво вымеряли колхозные деятели («А не прихватил ли лишка земли хозяин?»), никому не нужен. Бесчинствуют на нем крапива да лопухи, все в рост человека, словно оккупанты захватили страну, раньше дававшую им отпор. Агрессия сорняков. Труд и здравый смысл отступают. Общими силами городских потомков прежнего хозяина вахтовым методом обрабатывается несколько

соток — картошка, грядочки лука, огурцы, какие-то ягоды... Покосившийся погреб, сарай с протекающей крышей, пустой скотный двор. Как будто взорвалась нейтронная бомба — постройки остались, но ничего живого уже нет.

Захожу в дом. Неприятно поражают тишина и запах сырости. Это значит: «Я умираю».

Дом, как и положено родовому гнезду, имел свою историю. Перестраивался и видоизменялся. Мне объясняли: «Вот здесь была горница, а потом дедушка ее перестроил». Это поколению моего отца — дедушка. «А здесь в войну наши раненые лежали». «А наш дом при отступлении немцы не успели сжечь». «А здесь дедушка валенки валял». Это уже мой дедушка.

Дом, как и положено дому, был целым миром. В нем находились укромные сумеречные уголки, и большой стол для общей трапезы, и кровать для гостей с периной и пуховыми подушками. И сенцы, в которых, забежав с улицы, можно было выпить колодезной воды. В сенцах висели по стенам дождевики и телогрейки, а под потолком пучки разных трав, чей пряный дух смешивался с приятным запахом простой и сытной крестьянской еды, и слышно было, как в горнице потрескивают дрова в печи. Тепло разливалось по дому. Тепло общей согласной жизни. Тепло домашнего очага.

Не привел Господь сохранить все это. Но оно было. И это тепло согревает меня всю жизнь.

Неприятно и горько видеть дом опустевшим. Так тревожно бывает, когда идешь по руслу высохшей реки. Во имя чего, какой идеи ради изжита здесь семья? Не в годину войны, в мирное время, не за века, за два поколения оставили дом без домочадцев. А тут ведь и вправду проходила линия фронта. Не того, страшного, непоправимого, а невидимого и бессмысленного. Здесь поле битвы идеи с жизнью. Чудовищная это ловушка — идея. Человек наполняет ее плотью и кровью, дает тело бестелесной мысли. Она же, ощерившись, рвет человека в куски. Идею справедливости утверждали лагерями да тюрьмами. Рационализмом оправдывали отупение. Боролись за мир, утверждались в космосе, помогали «братским народам», а собственный народ изводили под корень. А в конце еще прихлопнули «перестройками» да «реформами», словно гвоздь вогнали в крышку гроба. И вот уж нет ни справедливости, ни мира, ни космоса, ни братских народов, остались лишь тюрьмы, отупение и вымирание.

Идея не победила жизнь. Но и жизни не стало. Осталось лишь пепелище несгоревшего дома, руины неразваленного дома. Похоже, и человека-то не осталось. Как упырь, отсосала идея из человека жизнь и лопнула от обжорства. Где прячется теперь человек? Куда бежал от вскормленной им идеи? Жизни-то, ясно, не нашел, но, может быть, отыскал хоть кусок существования, свободного от идей? А что если... Не может быть! Что если без идей жизнь невозможна?!

Выхожу на улицу. Гляну на село... Эх, крошечная душа! В моей ли деревне петь эту песню. «Весело», — там сказано. Весело... Смотрю по сторонам на дома соседей: умер, сгорел, уехал... Весело... В перспективе пустой улицы слышу: «Я умираю». Только крапиве и лопухам раздолье.

Спускаюсь с пригорка к реке. Где была проезжая дорога — болото. Старого колодца нет и следа. Да и не нарочно ли кто подстроил мне такую пакость?! Ведь ничего, ничего хорошего нет вокруг. Не бывает же так! Река-то должна же оставаться неизменной! Не сливают же сюда отходы, не строят на ней плотин, не поворачивают ее, невеличку, вспять... Оказывается, река не может жить без людей на ее берегах. Обмелела, помутнела и заболотилась. Снесены мостки, с которых ныряли ребята, поглощен осокой камень, с которого бабы полоскали белье. Когда-то утопанные скотом и водоплавающей птицей берега обрюзгли, раскиселились. Осел в воду мостик. Не подойти к нему — осока, и болото, болото кругом. Сердце щемит глядеть на это.

Зачем реке ее красота, если некому увидеть ее? Зачем чистая вода, если некому

омываться в ней? Зачем высокая волна, если никто не пригонит свой скот на водопой? А ведь в верхнем своем течении Снежедь осталась такой же, какой помню я ее с детства. Лишь здесь, рядом с погибающей деревней Русино, гложет и река.

Господи, помилуй! Я и помыслить не мог, что так наглядна ответственность наша за все. В наказании Господнем видна любовь Его к нам, в унижении человека понимаешь, как велик человек.

Вот и конец моему пути на сегодня. Не обойти всю Россию за жизнь человеческую, не налюбоваться ею вовек. И хотелось бы еще на ту вон горку подняться, глянуть кругом, почувствовать, как манит горизонт, да сил моих больше нет. Но знаю, где-то торит себе путь другой первопроходец, открывает свою душу, открывает свою страну. Может быть, там, где сейчас утро встает из вод океана. В тайге ли, на Урале, на Балтике. Не знаю, где течет его река. Скачет ли по горам, льется равниной, ломает ли льды северные, великая или незнатная, но своя река есть у каждого. Не все знают об этом. Наверное, их совсем немного, пилигримов, взыскующих Китеж, но они есть.

Дай вам Бог, дорогие мои люди, каждому своей дорогой и в свое время дойти, не блуждать в темноте или тумане. Дай вам Бог не сгинуть в пути, не устать, не сбиться. И давайте в следующий раз возьмем с собой детей. А те подрастут и, может быть, поведут за собой своих маленьких. Так эта ниточка и не порвется. Будет кому идти по России, видеть Россию, дышать Россией. Значит, будет Россия жива. Дай вам Бог... И спасибо вам за труд ваш, за терпение, за мужество. Только это дало нам выжить. Знайте, что долгие боли ваши и мучения были не напрасны. Каждый голодный день, каждый день во тьме и холоде, каждый день неоплаченного труда (и неоплаченного, ибо нет монеты, чтобы измерить ваш труд) держали страну над бездною, не давали пасть.

Кто не был с нами в эти дни, тот не поймет, как невыносимо было терпеть. Но выстояли и отстояли Россию. Нет, не порвется ниточка. А сейчас пусть Снежедь смочит с меня пыль и усталость этого дня. Пусть примут меня тихие воды.

Входя в реку, увидел я маленькое чудо: из-под берега бил родничок. Светлая ледяная струя бьется, пульсирует. То вдруг на глазах исчезал родник. Нет, живет! Не кончается сила загадочных недр земли нашей. Всю Снежедь питают такие вот роднички. С тихой щедростью дарят миру свою работу, стараются, не думая о себе. За то им награда — свои капельки слить с другими струями и честной своей малостью добиться значения, силы, воли.

Вот бы и люди научились так жить! Вот бы слились в один народ! Этот поток воистину горы свернул бы. А работы впереди у нас — горы, и горы, и горы. Понять бы только, что работа сегодня уже не только Божья заповедь, но и средство спасения себя и своих детей. Честная тяжелая работа — наше искупление. И если исполним ее, не будет стыдно нашим детям, что их отцы жили в России на стыке двух тысячелетий. Наверное, и нам самим не так стыдно будет смотреть в прошлое, когда предки наши собирали земли и народы, а не бросали их; когда копили богатство народное, а не транжирили его; когда делились богатством с нуждающимися, а не скряжничали; когда ценили возвышенное, а не низменное.

Нам бы только понять, что нужно не столько выжить, сколько душу сохранить. Может быть, третий или четвертый раз за всю историю нам дан шанс увидеть Китежград. Не обманемся ли вновь? Туда ли пойдем? Видеть конечную цель в богатстве и довольстве — значит навсегда остаться в забавной роли догоняющих и подражающих. Да и богатства настоящего не обрести.

Но разве мы не чувствуем в себе сил на что-то большее, чем сытость? Богатство никого еще не сделало счастливее. Сытость оборачивается вырождением. Довольство не делает добрее и даже просто воспитаннее. Не пройти бы в очередной раз мимо себя, не скатиться бы к пошлости.

Снежедь несла меня, слегка покачивая на волнах. Раскинув руки, я глядел в небо. Голубой свод был неохватен. Я начинал постигать, что значит «твердь небесная». И при всей ничтожности своей перед лицом вечности, я все-таки чувствовал, что не затерялся в бесконечности, что малым мазком и я вписан в картину мироздания. Хорошо найти свое место в мозаике мира. И что с того, что так недолго осознаешь это место своим. Через секунду, может быть, плеснет волна, развернет меня водоворот, и изменится мозаика, исчезнет очарование прохладных струй. И буду вновь с собою в ссоре, и бесконечный диалог души и неба продолжится, словно не было этого минутного затишья, гармоничного молчания. Злобный зной продолжит жечь голову, а подземный холод остудит кровь и станет выкручивать суставы. Не впервой мне жизнь терпеть, как пытку. Не впервой меняться самому внутри изменчивой реки, текущей меняющимися берегами. Как торжественно они идут мимо меня! Они меня смеряют взглядом! Идут навстречу берега, идут решительным парадом. Кувшинка — желтая вежа на текучем пути, пластмассовая игрушка на змеящемся из неведомого стебле; отломленная ветка ракиты — десяток серебристых незрячих глаз, ниспосланных судьбой присматривать за очевидным, — и все вокруг наполнилось вдруг смыслом.

Тихий ток наших чистых рек. Как понять смысл его? Простота, наивность упорного стремления. Ежечасная работа и полная уверенность в необходимости простоты. Подвижность, гибкость в постоянной работе. Упругая мягкость, звучащая тишина, раскаленная прохлада... Можно бесконечно оценивать поток. Но вопрос в том, как поток оценивает нас. Эта, безусловно, мудрая и, видимо, одушевленная субстанция принимает любого из нас. Принимает и взвешивает: недостаточно мудрых, слегка душевных. Все мы оказываемся легковесны. Всех нас успокаивает, омывает поток. Мы стремимся на берег, мы торопимся встать на ноги, мы спешим в путь, в дальнюю дорогу, в казенный дом, к напрасным хлопотам... Куда еще? На войну, на хитрованское торжище, в большие неуютные дома, в которых поселились злая, мимолетная любовь и глубокое тупое неверие.

Тихий ток наших чистых рек. Почему-то все устроено так, что мне кажется... Нет, я почти уверен: за очередным поворотом река потечет медом и молоком. Я почти уверен, что доплыву в Китеж, где спокойно и гордо живут люди. Там служат вечно, несуетному, доброму. Я выйду на берег, я скажу им: «Здравствуйте, родные!» Меня обнимут, дадут сухую одежду и отведут в горницу. И ни о чем не спросят, и ни в чем не упрекнут. Я начну учиться жизни, начну жить...

А когда этого не случается... Да, я часто обманывался в своих надеждах. Когда этого не случается, я не удивляюсь. Я продолжаю жить неумело.

Почему-то все устроено так, что в нашем бесчеловечном веке не принято удивляться. А уж надеяться на встречу со сказкой просто смешно. Именно поэтому мы недостойны молочных рек. Мы стали глупее Ивана-дурака, и волшебство не поможет нам. Мы стали образованнее Василисы Премудрой, и нам не найти любви. Никогда не бывать мне на острове, Буяне, не дышать его беззаботной лихостью. Никогда не найти мне Святой Руси, ибо грешен. И остается редкий глоток свежего воздуха, остается Снежедь, Русино да общение с тобой, старый мой товарищ, чистая душа.

Прощай же, брат. Как все-таки жаль, что мы давно не виделись. Я хочу многое, многое тебе рассказать.



**Владимир Сапожников**  
(г. Тула)



## НЕВОЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Этим летом — так случилось, я оказался сначала в Смоленске, а потом в соседнем (всего 120 километров на запад) с ним белорусском Витебске. Перемещался из Тулы и обратно на своем автомобиле, так что была возможность сравнить некоторые стороны жизни разных областей центральной России и дружественной нам Беларуси.

С горечью пришлось констатировать, что по-прежнему, как и в прошлые года, крайне тяжело преодолеваются некоторые участки автодороги Тула — Калуга. Но справедливости ради отметим, что есть сдвиги в лучшую сторону: дорожники работают над ремонтом этого традиционного участка трассы.

На территории Калужской области, в районе Юхнова очаровывают живописные природные ландшафты, но дорога кое-как залатана, гляди и гляди в оба, чтобы не пропороть шину в яме!

На Смоленщине участок трассы до Вязьмы выглядит более или менее прилично... А от Вязьмы до Смоленска по ровной Москва — Минской трассе катишь с ветерком, поглядывая на приборную доску, чтобы ненароком не превысить скорость свыше 120 километров в час... Вот везде бы нам в России такие дороги!

Но восхищение исчезает, когда въезжаешь в древний город-ключ Смоленск. Такое ощущение, что улицы в нем не ремонтировались ни разу со времен распада СССР. Повсюду выбоины, кучи грязи, мусор на обочинах. Брошенные окурки и иное на тротуарах даже в историческом центре Смоленска. Плохо прибранные редкие клумбы, бродяги, наркоманы, алкоголики, опустившиеся люди встречались в городе повсеместно. Здания с обсыпавшейся штукатуркой, грязные подъезды... Невольно сравнил ситуацию с Тулой... Да, мы ругаем иногда тульские власти за недоработки, за смыываемый дождем свежеположенный асфальт в некоторых местах города... Не без этого! Но видели бы вы Смоленск?! Да Тула гораздо ухоженнее в целом, чем запущенный, видимо дико разворванный кем-то град на Днепре!

Когда въезжаешь в Витебскую область Белоруссии — сразу отмечаешь отремонтированные, ровные автодороги, ухоженные деревни и городки по их сторонам, отсутствие забулдыг, алкашей на их улицах.

На въезде в Витебск за год выросли новые светло-празднично окрашенные целые микрорайоны жилых домов. Как мне объяснили потом местные жители — это социальное жилье, которое предлагается государством для малоимущих по цене 400-500 у.е. за квадратный метр. Вот нам бы такие цены и господходы к проблеме жилищного строительства! Хотя бы на часть газонептяных денег, которые олигархи спешно перекачивают в оффшоры из России...

Поразила чистота, порядок в Витебске на улицах. Вежливость продавцов в магазинах — при покупке обязательно вам скажут спасибо! Кругом новостройки: прекрасный ледовый дворец, где дети бесплатно могут заниматься спортом, новый кос-

тел, жилье, здания, новый, с ниточки роддом на месте старого, где моя жена когда-то родила младшего сына... Кстати в белорусских гостиницах за проживание в них с тех россиян, кто родился когда-то в Белоруссии, взимается меньшая плата, чем с других иностранцев.

Действующий губернатор области, бывший вице-премьер правительства Беларуси, живет в обычной трехкомнатной квартире в обычном доме. У подъезда никакой охраны. Сам видел, как утром за ним заехала одна служебная машина. Без сопровождения автомобилей с охраной и сотрудниками ГАИ. У губернатора, как и у других чиновников областной, городской администрации нет никаких дворцов-коттеджей... Все соответственно официальным доходам, скромно по российским меркам. Но справедливо!

В Белоруссии не дают и не берут. Любой чиновник знает, если он сегодня нарушил закон — завтра и потом никогда он не будет работать в госорганах. Размер взятки не имеет значения. Если взял — осудят не менее чем на 4 года и обязательно с конфискацией имущества! Это знают все. Как знают, что и законы одни для всех. Только с властью имущих «батяка», как с уважением называют белорусы своего президента, спросит с большей строгостью.

В будничное время улицы Витебска пустыньны — людей почти нет, автомобильных пробок — тоже. Мы догадались — просто все работают в это время, а не занимаются непонятно чем, как в России!

В Белоруссии государственные комитеты контроля (которые отслеживают и проведение ЕГЭ и многие другие сферы жизни) контролируют, чтобы работник работал не более чем на полторы ставки в государственных учреждениях. Считается, что если иначе — то человек везде будет недорабатывать.

Поразил еще один факт. Когда мы находились в гостях у друзей юности, в их квартире раздался звонок в дверь. Хозяйка открыла, и мы увидели в прихожей трезвого человека одетого в опрятную, выглаженную спецовку с чемоданчиком в руке.

— Кто это? — спросил я у своего друга.

— Да, это сантехник зашел проверить, как у нас работают краны и другое... — пояснил тот. — Они планово два раза в году обследуют все квартиры...

— И если находят неисправности, то устраняют их?

— Тут же. И абсолютно бесплатно, — улыбнулся мой товарищ. — Мы же за это ежемесячно платим ЖЭКу...

Да, мы в России тоже платим... Но почему-то никто не совершает плановых осмотров состояния сантехники в наших квартирах. А если что-то выходит из строя — то даже вечно пьяного сантехника ЖЭКа трудно за дополнительную плату из своего кармана сподвигнуть на проведение ремонта.

Можно было бы долго продолжать сравнения... Ну кто такие белорусы? Да такие русские, только белорусы! Но они смогли, благодаря Лукашенко, навести социальный, экономический порядок у себя в стране?



**Людмила Гайдукова**  
(г. Алексин)



## **ВЯТИЧИ И ТУЛЬСКИЙ КРАЙ**

Давным-давно, когда не было еще города Алексина, в лесах вдоль Оки жило загадочное племя вятичей. В те далекие времена река служила им главной дорогой, соединяя между собой разрозненные поселения охотников и добытчиков меда, пахарей и рыболовов. На высоких берегах стояли их города, укрепленные валами и рвами, огороженные частоколами: настоящие города — с хорошими пристанями и местом для торга. Сюда на узких лодочках-долбленках спешили жители отдаленных поселений со своим товаром, сюда приплывали торговые ладьи из Киевской Руси и даже корабли заморских купцов.

Как появился на Тульской земле этот независимый, свободолюбивый народ? Каков был уклад жизни вятичей, их духовный строй, видение мира? Попробуем вместе окунуться в прошлое, возможно, какие-то черты далеких пращуров все еще живут в нашей генетической памяти.

### **Расселение славян на территории Центральной России**

В лесах русской равнины на территории, составляющей теперь Центральную Россию, примерно с VIII в. до н.э. обитали племена финно-угров и балтов. Но уже в конце VII в. н.э. их потеснили на восток и на север многочисленные славянские племена, начавшие в VI в. массовое расселение по Восточной Европе.

Славяне, быстро смешиваясь с местным населением (ираноязычными племенами на юге, финно-угорскими на севере и балтоязычными на северо-западе), расселились на огромном пространстве, выстояли в ожесточеннейшей борьбе с многочисленными врагами и сыграли совершенно особую роль в истории Евразии. Сила славян заключалась в том, что они не были привязаны к одной ландшафтной зоне, и с одинаковым успехом занимались хозяйственной деятельностью и в дремучих европейских лесах, и в плодородных ковыльных степях. Основной тип славянской хозяйственной деятельности сложился в лесостепи, так что два других ландшафта — лес и степь — были для славянина одинаково родными местами обитания. Это и позволило древним племенным союзам вятичей, северян, кривичей, радимичей расселяться на любых свободных или малозаселенных землях.

### **Нестор о славянах**

В бассейне реки Оки древнейшие археологические памятники, оставленные явно славянами, датируются VII веком. Вот что сообщает о славянских переселенцах, в том числе и о тех, что пришли на берега Оки, Нестор-летописец:

«...По многом времени осели славяне по Дунаю, где ныне Венгерская земля и Болгарская, (и) от тех славян разошлись по земле и назвались именами своими, где

кто сел на каком месте... те славяне, которые пришли и поселились по Днепру, назывались Полянами, а другие Древлянами, потому что (они) жили в лесах... И так распространился славянский народ («язык»), по нему и грамота назвалась Славянская.

...Поляне же жили отдельно, как сказано, были от рода Славянского и назывались Полянами. Древляне тоже от Славян и назывались Древлянами. Радимичи и Вятичи от Ляхов. Было у Ляхов два брата — Радим и другой Вятко. Пришел и поселился Радим на Сожу и (от него) назвались Радимичи, а Вятко сел с родом своим на Оке, от него назвались Вятичи. Жили в мире Поляне и Древляне, и Северяне, и Радимичи, и Вятичи, и Хорваты.

...И Радимичи, и Вятичи, и Северяне один обычай имели, жили в лесах, ели все нечистое, и срамословили перед отцами и перед снохами, и браков у них не было, но игрища между селами: сходились на игрища, на плясание и на все бесовские песни и тут умыкали себе жен по взаимному согласию, имели же по две и по три жены. И если кто умрет, творили тризну над ними и после этого делали большую кладку, клали на нее мертвеца и сжигали, а затем, собрав кости, вкладывали в малый сосуд и ставили (его) на столбе на путях, как делают Вятичи и поныне. Такие же обычаи и у Кривичей, и у других поганых, не знающих Закона Божия и творящих сами себе закон...»

### **Территория, расселение вятичей**

Вятичи появились в бассейне реки Оки, видимо, в сер. I тыс. н. э., вытесняя живших здесь балтов и отчасти угро-финнов. Часто вятичи селились на обжитых местах своих предшественников, и в Алексинском районе это подтверждают раскопки городищ Картавцево, Сенево, Алексинское. Это самое восточное из славянских племен было очень замкнутым: вятичи селились обособленно от других славян, занимая бассейн верхнего и среднего течения Оки и ее притоков. Пути сообщения служили реки, на возвышенных берегах которых вятичи ставили свои дворы — городища.

### **Социально-экономические отношения вятичей**

Основой социально-экономических отношений этого славянского племени служили земледелие и охота. Мелкие земледельческие деревни часто носили временный характер и переносились на другие места по мере истощения небольших подсечных пашен. Помимо земледелия и охоты вятичи занимались бортничеством и рыболовством. Бобровые гоны существовали тогда на всех реках и речках области их расселения, и бобровый мех являлся важной статьей товарообмена с соседними финскими и литовскими племенами. Часть дани хазарам, а затем и киевским князьям вятичи платили так же бобровыми шкурками. Гончарное, кузнечное и другие ремесла были дополнительными источниками существования поокских славян.

В I пол. IX в. вятичи попадают под влияние хазар, которым вынуждены платить дань. Таким образом, они были вовлечены в круг сначала поволжской, а потом днепровской торговли. Арабские купцы стали проникать сюда с товарами и деньгами, плавая по Каспийскому морю, Волге и Оке.

### **Политический строй вятичей**

Вятичи жили родовой общиной, во главе которой, как и у всех славянских племен, стоял старейшина рода. Обработка земли под пашни требовала коллективных усилий большой семьи, жившей общим двором. У вятичей дольше всего сохранялись родовые князья (организаторы общинного труда) и племенное вече.

В XI—XIII в. в. патриархально-родовой строй поокских славян постепенно начал

уступать место феодальным отношениям. В этот период, видимо, у вятичей были основаны и первые укрепленные поселения: Дедославль — старейший их вечевого город, Колтеск, Москва, Неринск и др.

### **История присоединения земли вятичей к Киевской Руси**

Вятичи были народом самостоятельным, независимым. Верные традициям и свято почитавшие заветы предков, они сопротивлялись всякому влиянию, угрожавшему их патриархальности, в том числе и влиянию Киевской Руси. Земли вятичей одними из последних вошли в состав Древнерусского государства, и этот процесс сопровождался упорным сопротивлением со стороны патриархального лесного народа.

Хотя неоднократные походы великих киевских князей во II пол. X в. и вынудили вятичей платить дань далекому Киеву, при малейшей возможности они уклонялись от даннических отношений с Киевской Русью, и до начала XII века упорно отстаивали свою независимость.

В княжение Олега, утвердившего за полянским городком Киевом звание «матери русских городов», большая часть восточных славянских племен вошла в состав русского государства, одни только вятичи остались под властью хазар. Во II пол. X века хазары прочно утвердились в стране вятичей и, не довольствуясь прежней легкой данью по белке от дома, наложили на них денежную дань: «по шлягу от рала». Чтобы присоединить и это славянское племя к русскому государству, для киевских князей возникла необходимость сломить могущество хазарского царства.

В 964 году князь Святослав предпринял поход к берегам Оки и Волги. Во время этого похода он встретил вятичей и спросил их: «Кому вы дань платите?» Они ответили: «Хазарам по шлягу от рала». Тогда Святослав в следующем 965 году напал на хазар и, победив их, разорил крепость Белую Вежу. Расправившись с хазарами, он в 966 году опять пошел в землю вятичей, покорил их и обложил данью. Но завоевание это было не прочным: вятичи вскоре отложились от Руси.

Летописец Нестор указывает, что в 981 году Владимир Святой «вятичи победи и возложи на ня дань от плуга, яко же отец его имал». Из этих слов явствует, что после 966 года вятичи свергли с себя зависимость от киевских князей и перестали платить им дань. По всей вероятности, это случилось в период, следовавший за смертью князя Святослава, так как малолетство, а затем междоусобия его сыновей представляли удобный случай для восстания. В 982 году вятичи опять «заратились». Владимир вторично пошел на них и покорил.

Частые нападения печенегов на окраинные русские области побудили Владимира озаботиться укреплением южной и восточной границ русского государства. «Худо, что мало городов около Киева», — говорил князь и повелел строить города по рекам Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне. В устроенных городках он поселил «лучших мужей» из новгородских славян, чуди, кривичей и вятичей. Этой мерой наиболее опасные и влиятельные лица были удалены из среды своего племени. Ослабленные таким выселением, вятичи после этого остаются покорными киевским князьям во все время правления Ярослава и его сыновей.

После смерти Ярослава его сыновья поделили между собой русские земли, в результате чего земля вятичей была присоединена к Черниговскому уделу. С этого времени она не перестает быть частью Черниговского княжества.

Окончательное покорение лесного племени относится ко времени правления Владимира Мономаха. Он владел Черниговским княжеством с 1078 по 1094 г., а первый поход в землю вятичей предшествует даже самому его княжению. «Первое к Ростову идох, сквозь вятичи, послал мя отец», — рассказывает он в «Поучении детям». Владимир Мономах ставит себе это в особую заслугу. Очевидно, поход через

землю вятичей был сопряжен с большими затруднениями и опасностями. Между тем, здесь и пролегал кратчайший водный путь из Чернигова в Ростов, а Ростов также был волостью Мономаха, которому хотелось обеспечить себе беспрепятственное движение по этому пути. В первые же годы своего княжения в Чернигове он предпринял в землю вятичей два зимних похода: «В вятичи ходихом по две зиме, на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну ходих первую зиму»,— говорит Владимир Мономах. Ходота был одним из племенных князей-старейшин, которые правили до утверждения в стране власти Рюриковичей. Вятичи упорно боролись с Мономахом. Борьба окончилась победой киевского князя, и с этого времени вятичи уже не делали попыток вернуть себе самостоятельность.

### Религия и культура вятичей

В области религии и культуры вятичи мало чем отличались от остальных славянских племен: основы языческого восприятия мира, обряды и традиции для всех славян были одинаковыми. Однако, удаленность от Полянского Киева, а также обособленность этого племени от своих сородичей не могли не отразиться на религиозно-нравственной сфере жизни. Языческая вера в земле поокских славян сохранялась достаточно долго, а христианство приживалось необычайно тяжело. Феномен двоеверия, выразившийся в одновременном существовании христианской веры и языческой обрядности, приобрел у вятичей особенную остроту и актуальность. Также не стоит забывать, что теснимые славянами племена балтов и угро-финнов рано подчинились их культурному влиянию и ассимилировались с ними, внося в быт и поверья вятичей многие черты своего быта и своих религиозных верований. Языческие обряды и суевия славян нашего края несут на себе несомненные следы финского влияния. Особенно характерно это выразилось в почитании камней.

В Тульской и Калужской областях еще остались огромные камни, носящие названия животных: «Конь-камень», «Свинья-камень», «Баран-камень», а также «Баш» и «Башиха». Предания местных жителей окружают их легендами и сохраняют воспоминания о том, что некогда на этих камнях приносились жертвы. Еще в начале XX века в селе Башеве Одоевского уезда крестьяне приносили в жертву своим священным камням деньги, шерсть, пищу и одежду. Земля, взятая из-под этих камней, считалась предохранительным средством от падежей скота и от порчи колдунов, а осколки их — верным средством от зубной боли. «Конь-камень» имеется и близ села Спас-Конино Алексинского района. По одной из версий, именно этот камень дал название селу. Практическое назначение памятников было не только культовым, поскольку изучение их показало, что каменные комплексы «коней» ориентированы по сторонам света. Возможно, они служили нашим далеким предкам обсерваторией. Помимо каменных комплексов до настоящего времени сохранились и антропоморфные (человекоподобные) каменные изваяния, бывшие в языческие времена идолами. Одним из наиболее характерных примеров таких памятников в земле вятичей является Козельский крест: небольшая (чуть более метра высотой) фигура, грубо вырубленная из темно-серого песчаника. По преданию, этот крест был вытесан из изваяния древней богини плодородия.

В славянских землях было широко распространено поклонение деревьям. Несомненно, поклонялись им и вятичи. По всему пространству, некогда составлявшему владения этого племени, рассеяно много старых деревьев, которые окрестные жители даже в начале XX века почитали священными и чествовали разными приношениями в виде металлических подвесок, лент, тесемок и т.д. Если при деревьях имелась ключевая вода, то устраивали для нее резервуар (сруб или деревянную кадку). В такой колодец опускали монеты и другие приношения. Упорная, долгая борьба церкви с

языческим почитанием деревьев не прошла бесследно и, хотя не искоренила поклонение совершенно, но придала ему другую форму. С водворением в стране христианства создался целый цикл легенд о чудесном появлении на том или ином дереве, чаще всего на дубе или липе, святых икон.

Вятичи, как и другие славянские племена, усердно поклонялись источникам и рекам. Особенно почитались славянами-язычниками родники, посвященные богу-громовнику Перуну. Сказания утверждают, что эти источники явились из земных недр после удара молнии, почему они и называются «громовыми», «гремьичими» и «святыми».

Наиболее почитаемым богом вятичей был Ярила — бог весеннего света и тепла, бог любовной страсти и плодородия. В его лице славяне поклонялись производительной энергии природы. Обряды, сопровождавшие празднества в честь Ярилы, отличались крайне вольным характером. Надо думать, что именно к этому времени были приурочены языческие браки (умычка жен), вызвавшие такой суровый отзыв летописца Нестора: «Схожахуся на игрища, и ту умыкаху жены себе, с нею же кто совещашесе, имяху же по две и по три жены». Разгульные празднества в честь бога Ярилы долгое время совершались на Руси даже после утверждения в стране христианства.

Животворящую весну со всеми ее радостями и наслаждениями древние славяне представляли в образе прекрасной Лады — богини весеннего тепла, юности, красоты и плодородия, богини любви и браков. Лада побеждает и прогоняет суровую зиму — богиню Морану, и «отмыкает» землю для посевов. В весеннюю пору она вступает в брачный союз с богом громовником и шлет на землю благодатное семя дождей, оживляя всю природу. Обряды, которыми в Тульской и Калужской областях до сих пор встречают наступление весны (праздники Масленицы, Красной Горки, традиция выпекания жаворонков и др.), свидетельствуют, что вятичи так же усердно поклонялись богине Ладе, как и другие славянские племена.

Верили вятичи в леших, водяных, русалок. С верой в домового (покровителя дома) и чура (покровителя рода) связаны и заупокойные обряды славян. Подобно тому, как умерший домовладыка, не оставляя своего прежнего жилища, домашнего очага и своей семьи, воплощался в домового, так же и умерший владыка рода принимал образ чура, и после смерти продолжал пребывать на земле своих родичей, оберегая ее. При таком представлении о посмертных заботах своих предков славянин-язычник естественно должен был прийти к заключению, что самое подходящее место для погребения усопших — это граница владений рода, межа, на которой пересекаются пути, ведущие во владения соседних родов. И действительно, пока продолжал господствовать родовой быт, именно эти места и служили славянам кладбищами. Об этом свидетельствует русский летописец, указывающий, что северные русские племена хоронили своих покойников «при путях» — на перекрестках дорог. О похоронных обрядах северян, радимичей и вятичей Нестор рассказывает следующее: «Если кто умрет, творили тризну над ним и после этого делали большую кладку, клали на нее мертвеца и сжигали, а затем, собрав кости, вкладывали в малый сосуд и ставили (его) на путях, как делают вятичи и поныне». Это свидетельство русского летописца согласуется с описанием погребальных обрядов задунайских и русских славян в сказаниях арабского писателя Ибн-Доста. По его словам, когда у них кто-нибудь умирает, труп его сжигают, а пепел собирают и кладут в урну, которую ставят на холме. В пределах России такие погребальные глиняные сосуды впервые были найдены поставленными наверху насыпи к курганам близ местечка Седнева Черниговской губернии.

С принятием христианства язычество пало, но первобытное мирозерцание, выражавшееся в почитании природы, удержалось в народе: прежние понятия изменили

свою форму, приняв христианский облик, но по существу оставаясь языческими. Заговоры слились с христианскими молитвами, и рядом с воззваниями к силам природы народ призывал ангелов, апостолов и Пречистую Деву. Языческие празднества были приурочены к христианскому календарю. Предания и мифы о древних богах люди перенесли на Спасителя, Богородицу и святых: Перун уступил свое место Илье-пророку, который до сих пор удерживает за собой атрибуты языческого бога-громовника; бога скота Волоса (Велеса) заменили св. Власий и св. Георгий; богиню весны Ладу заменили Дева Мария и мученица Параскева. Так возник на Руси феномен двоеверия, особенно четко проявивший себя в землях, ранее населенных вятичами.

### **История принятия христианства вятичами**

В нашем крае проповедь христианства была встречена враждебно. Насколько упорно боролись вятичи за свою независимость, настолько же упорно отстаивали они свою языческую веру. Мученическая смерть просветителей этой земли преподобного Кукши и его ученика Никона лучше всего свидетельствует о том упорном сопротивлении, какое встретила здесь новая вера со стороны язычества.

В I пол. XII в. монах Киево-Печерского монастыря преподобный Кукша прибыл в землю вятичей проповедовать христианское учение. Есть основание предполагать, что Кукша отправился туда по приглашению епископа черниговского Феоктиста. Как свидетельствует Симеон Владимирский, проповедь преподобного Кукши сопровождалась великими чудесами. Он свел с неба дождь, высушил озеро, изгонял бесов и явил много других чудес. Несомненно, тогда же многие из вятичей уверовали и приняли христианское крещение. Обеспокоенные успехом проповеди защитники язычества напали на заре на преподобного Кукшу, подвергли его и ученика его Никона жестоким мучениям и предали их обоим лютой смерти. Память об этом событии живет и поныне в пределах Калужской епархии, и народное предание даже указывает место, где был убит преподобный Кукша — это берег реки Серены, возле Серенска, села Мещовского уезда, где некогда простирался дремучий Серенский лес.

После смерти преподобного Кукши христианство в стране вятичей, хотя и медленно, но продолжало распространяться среди населения. На месте, где некогда были языческие святилища, возникали первые христианские храмы. Однако, как показало время, полностью искоренить из народной памяти древнейшую веру славян оказалось невозможно.

